



Евгений Шварц

Превратности судьбы.
Воспоминания об эпохе
из дневников писателя

ФТМ



Евгений Львович Шварц Превратности судьбы. Воспоминания об эпохе из дневников писателя

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6651442

*Шварц, Евгений Превратности судьбы. Воспоминания об эпохе из дневников писателя : АСТ; Москва; 2013
ISBN 978-5-17-077685-6*

Аннотация

Евгений Шварц – известный советский писатель, автор культовых пьес «Голый король», «Снежная королева», «Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо». Дневники – особая часть творческого наследия Шварца. Писатель вел их почти с самого начала литературной деятельности. Воспоминания о детстве, юности, о создании нового театра, о днях блокады Ленинграда и годах эвакуации. Но, пожалуй, самое интересное – галерея портретов современников, за которыми встает целая эпоха: Корней Чуковский, Самуил Маршак, Николай Черкасов, Эраст Гарин, Янина Жеймо, Дмитрий Шостакович, Аркадий Райкин и многие-многие другие. О них Шварц рассказывает деликатно и язвительно, тепло и иронично, порой открывая известнейших людей тех лет с совершенно неожиданных сторон.

Содержание

Предисловие	4
1942 г	7
1943 г	10
1944 г	12
1945 г	17
1946 г	20
1947 г	24
1948 г	42
1950 г	45
1951 г	87
Конец ознакомительного фрагмента.	96

Евгений Шварц

Превратности судьбы.

Воспоминания об эпохе

из дневников писателя

Предисловие

Дневники – особая часть творческого наследия Е. Л. Шварца. Писатель вел их почти с самого начала своей писательской деятельности – с 1926 года. К сожалению, воспоминания о жизни молодой советской литературы и создании нового театра, о суровых днях блокады Ленинграда не сохранились. Покидая Ленинград по решению исполкома горсовета в декабре 1941 года Шварц сжег свои дневники, не имея возможности взять их с собой.

Однако попав на Большую землю, в город Киров, одновременно с возобновлением творческой деятельности он вновь вернулся к дневникам. Ведя их, Шварц ставил перед собой две основные задачи: учился писать прозой, считая для драматурга это очень важным, и стремился «поймать миг за хвост», то есть найти наиболее точные слова для передачи чувств, событий и настроений в тот или иной момент жизни.

Структура дневников довольно сложна. В них содержатся и заметки, характерные для записных книжек, – отдельные слова, выражения, обратившие на себя внимание и наброски для будущих пьес и самые обычные записи о событиях текущего дня. С 1950 года структура дневников становится еще более сложной – в них постоянно проходит тема воспоминаний. В результате создается полная автобиография писателя, начинающаяся с первых детских впечатлений и идущая через отроческие годы, проведенные в небольшом южном городе Майкопе. Здесь он научился читать и писать, здесь посмотрел первые спектакли на сцене Пушкинского народного дома, где в качестве артистов-любителей выступали его родители, здесь придумывал целые представления с куклами, игрушками, декорациями, здесь выступал с декламацией на вечерах в реальном училище. В этом городе к нему пришло твердое решение стать литератором, здесь в глубокой тайне даже от самых близких людей он написал первые стихи. В Майкопе девятилетний Женя Шварц стал свидетелем революционных событий 1905 года, первых митингов и демонстраций, запомнившихся на всю жизнь. Писатель рассказывает о годах учебы в Московском университете, о поступлении в Театральную мастерскую в Ростове-на-Дону, о приезде в составе труппы этой мастерской в Петроград, о новых знакомствах, о первых книжках и пьесах, принесших ему известность, о днях блокады Ленинграда, об участии в противовоздушной обороне города, о годах эвакуации и возвра-

щении в послевоенный Ленинград. Автобиография доведена до конца. Последняя запись сделана 4 января 1958 г., за одиннадцать дней до смерти писателя.

Не все периоды жизни отражены в дневниках одинаково подробно, некоторые пропущены совсем. Иногда, следуя по «волнам своей памяти», автор возвращается к уже описанному периоду, дополняя его новыми деталями.

В составе дневника осуществлена и очень интересная работа, названная Шварцем «Телефонная книжка». Это, по сути, галерея портретов современников, за которыми встает целая эпоха общественной и культурной жизни страны. Исходным материалом для миниатюр послужила обычная записная книжка, куда в течение многих лет в алфавитном порядке заносились телефоны людей, с которыми постоянно общался Шварц. Как правило, это были писатели, артисты, режиссеры, музыканты, художники. О них Шварц рассказывает одновременно иронично и деликатно, насмешливо и тепло...

1942 г

9 апреля

Читал о Микеланджело, о том, как беседовал он в саду под кипарисами о живописи. Читал вяло и холодно – но вдруг вспомнил, что кипарисы те же, что у нас на юге, и маслины со светлыми листьями, как в Новом Афоне. Ах, как ожило вдруг все и как я поверил в «кипарисы» и «оливы», и даже мраморные скамейки, которые показались мне уж очень роскошными, стали на свое место, как знакомые. И так захотелось на юг.

19 апреля

Владимир Васильевич Лебедев¹ заходит за мною, чтобы идти в театр поговорить с Рудником² о декорациях к моей пьесе «Одна ночь». Я не особенно привык к тому, что пьесы мои ставятся. Мне кажется, что если пьеса написана, прочитана труппе и понравилась, то на этом, в сущности, дело и кончается и кончаются мои обязанности. Но Маршак всегда так энергично и хлопотливо готовит свои сборники к печати, так пристально разглядывает и упорно обсуждает каждый

¹ Лебедев Владимир Васильевич (1891–1966) – художник-график, один из создателей искусства советской иллюстрации к детской книге.

² Рудник Лев Сергеевич (1906–1987) – режиссер. В 1940–1944 гг. – директор и художественный руководитель БДТ им. М. Горького.

рисунок, что привыкший к этому Лебедев ждет и от меня такого же отношения к эскизам костюмов и декораций. Лысый, с волосами, чуть завивающимися над висками, в круглых черных очках, в картузе, в американских сапогах с толстыми подошвами, странный, но вместе с тем ладный и молодежливый, заботливо и вместе с тем нелепо одетый, Лебедев спрашивает меня: «Вы, может быть, кушинькаете?» У него есть эта привычка: вдруг заговорить детским, ошеломляюще детским языком. Я говорю, что я, нет, не кушаю, и мы отправляемся в театр. По дороге разговариваем о пьесе, которую Лебедев знает удивительно хорошо. Говорит он то понятно, убедительно, то вдруг неясно, загадочно, хохочет при этом еще, так что совсем ничего не разберешь. Рудника мы застаем в кабинете. Он красив, выбрит. Я замечаю вдруг, что у этого грубоватого, самоуверенного, умеющего жить человека длинные, тонкие красивые пальцы. У него манера говорить характерная. Обрывает вдруг на середине фразу, не зная, очевидно, как ее закончить, но делает он это спокойно, не пытаясь даже найти ей конец. Ставит точки посреди фразы. Например: «Теперь мы репетируем эту. Во вторник можно в четыре встретиться. До этого я найду. Малюгин³ зайдет, и мы».

23 июля

³ Малюгин Леонид Антонович (1909–1968) – писатель, драматург, в годы войны – заведующий литературной частью БДТ.

17 июля я уехал в Котельнич, гостил у Рахманова⁴ и пробовал делать то, что умею хуже всего, – собирал материалы для пьесы об эвакуированных ленинградских детях. Рахманов принял меня необычайно приветливо и заботливо. Вероятно, благодаря этому я чувствовал себя там так спокойно, как никогда до сих пор в гостях. Видел эвакуированные из Пушкина ясли, детская санатория бывшая. Говорил с директоршами – это было очень интересно, но как все это уместится в пьесу, да еще и детскую?

18 октября

Я за это время написал пьесу, которую назвал «Далекий край». Это пьеса об эвакуированных детях. 13 сентября я поехал в Москву, повез пьесу в Комитет. Ее приняли. В Москве я прожил до 4 октября. Бывал у Шостаковича. Познакомился там с художником Вильямсом, с его женой – артисткой, которая играла Варвару в «Айболите». Заключил договор на пьесу в кино. «Одна ночь» ходит по рукам, ее хвалят очень Шток⁵, Шкваркин⁶, Шостакович, Каплер⁷.

⁴ Рахманов Леонид Николаевич (1908–1988) – писатель, драматург, друг Е. Л. Шварца.

⁵ Шток Исидор Владимирович (1908–1980) – драматург.

⁶ Шкваркин Василий Васильевич (1894–1967) – драматург.

⁷ Каплер Алексей Яковлевич (1904–1979) – кинодраматург.

1943 г

6 марта

1 февраля Большой драматический театр погрузился в вагоны (два классных и, кажется, четырнадцать товарных) и уехал в Ленинград.⁸ 11 февраля они, не перегружаясь, доехали до Ленинграда. Я уезжал в детскую санаторию Канып. Отвозил туда Наташу⁹. Перед отъездом моим я согласился работать завлитом в Кировском областном драматическом театре, вернувшемся из города Слободского сюда, на старое место. Работаю там. То есть обсуждаю пьесы, смотрю спектакли, разговариваю.

3 августа

И вот мы уже в Сталинабаде¹⁰. Выехали в ночь на десятое июля и приехали 24-го. Три дня пробыли в Новосибирске, два дня – в Ташкенте. Сталинабад поразил меня. Юг, мас-

⁸ С августа 1941 г. по 1 февраля 1943 г. БДТ был в эвакуации в Кирове, где с 30 сентября давал спектакли в помещении Кировского областного драматического театра. Вернувшись в осажденный Ленинград, продолжал работать в условиях блокады.

⁹ Наталия Евгеньевна Шварц, в замужестве Крыжановская – дочь Е. Л. Шварца.

¹⁰ Шварц поехал в Сталинабад (теперь – Душанбе) по приглашению Н. П. Акимова, главного режиссера Ленинградского театра комедии, работавшего там в период эвакуации с сентября 1942 г. по май 1944 г., на должность заведующего литературной частью.

са зелени, верблюды, ослы, горы. Жара. Кажется, что солнце давит. Кажется, что если подставить под солнечные лучи чашку весов, то она опустится. Я еще как в тумане. Собираюсь писать, но делаю пока что очень мало. В Союзе писателей я познакомился с Сергеем Городецким. Хочу поехать, походить по горам.

1944 г

23 января

Поездить и походить по горам я не успел до сих пор, хотя послезавтра уже полгода, как я живу здесь. Уже зима, которая похожа здесь на весну. На крышах кибиток растет трава. Трава растет и возле домов, там, где нет асфальта. Снег лежит час-другой и тает. Не успел я поездить и походить, потому что Акимов уехал в августе в Москву и я остался в театре худруком. Кроме того, я кончал «Дракона». До приезда Акимова (21 октября) я успел сделать немного. Но потом он стал торопить, и я погнал вперед. Сначала мне казалось, что ничего у меня не выйдет. Все поворачивало куда-то в разговоры и философию. Но Акимов упорно торопил, ругал, и пьеса была кончена, наконец. 21 ноября я читал ее в театре, где она понравилась...

В Москве Акимов долго выяснял дальнейшую судьбу театра. Было почти окончательно решено, что театр переезжает в Москву. Но вдруг Большаков¹¹ добился в ЦК, чтобы театр послали в Алма-Ату, где на киностудии страдают от отсутствия актеров. В результате театр оказался в непонятном положении. В Алма-Ату как будто в конце концов, после хлопот Акимова, ехать не надо. Но с другой стороны –

¹¹ Большаков Иван Григорьевич (1902–1980) – председатель Комитета по делам кинематографии с 1939 г. по 1946 г.

приказ о поездке не отменен. После долгих ожиданий, переписки, телеграмм Акимов 25 декабря опять уехал. Сначала в Алма-Ату. Потом в Москву. С 12 января он опять в Москве, а мы все ждем, ждем. Все эти полгода прошли в том, что мы ждали. Была надежда, что театр поедет в Сочи, чтобы там готовить московские гастроли; потом мы думали, что уедем в Кисловодск. Много разных периодов ожиданий прошло за эти полгода. Как разные жизни, разно окрашенные, с разными подробностями.

26 января

Я получил двадцать четвертого телеграмму из Москвы от Акимова: «Пьеса блестяще принята Комитете возможны небольшие поправки горячо поздравляю Акимов». Это о «Драконе». В этот же день получена от него телеграмма, что поездка в Алма-Ату окончательно отпала, а московские гастроли утверждены. Срок гастролей он не сообщает.

11 февраля

За эти дни я получил еще две телеграммы. От Акимова: «Ваша пьеса разрешена без всяких поправок, поздравляю, жду следующую», и от Левина¹²: «Горячо поздравляю успехом пьесы». Обе от 5 февраля.

7 марта

¹² Левин Лев Ильич – литературный критик.

Приехал Акимов позавчера, пятого марта, в воскресенье. Рассказывает, что «Дракон» в Москве пользуется необычайным успехом. Хотят его ставить четыре театра: Камерный, Вахтанговский, театр Охлопкова и театр Завадского¹³. Экземпляр пьесы ВОКС со статьей Акимова послал в Москву. Не в Москву, а в Америку.

17 июня

«Дракона», которого так хвалили, вдруг в конце марта резко обругали в газете «Литература и искусство». Обругал в статье «Вредная сказка» писатель Бородин. Тем не менее разрешен закрытый просмотр пьесы. Он состоится, очевидно, в конце июня или в начале июля. Все это я пишу в номере, очень большом номере, гостиницы «Москва». Уже месяц, как театр переехал сюда. Точнее – месяц назад, 17 мая, приехал первый вагон с актерами. Собираться в Москву мы начали еще в апреле. Акимов уехал передовым, а мы все собирались и ждали, ждали.

16 июля

«Дракон» все время готовится к показу, но день показа

¹³ «Дракон» был поставлен только в одном театре – Ленинградском театре комедии в период его гастролей в Москве по возвращении из Сталинабада. Единственный открытый спектакль был 4 августа 1944 г. В период репетиций появилась разгромная статья С. П. Бородина «Вредная сказка», направленная против пьесы, и спектакль был снят. Постановка была возобновлена Н. П. Акимовым в 1962 г.

все откладывается. Очень медленно делают в чужих мастерских (в мастерских МХАТа и Вахтанговского театра) декорации и бутафорию. Вчера я в первый раз увидел первый акт в декорациях, гримах и костюмах. Я утратил интерес к пьесе.

9 декабря

«Дракон» был показан, но его не разрешили. Смотрели его три раза. Один раз пропустили на публике. Спектакль имел успех. Но потребовали много переделок. Вместо того чтобы заниматься мелкими заплатками, я заново написал второй и третий акты. В ноябре пьесу читал на художественном совете ВКИ. Выступали Погодин, Леонов – очень хвалили, но сомневались. Много говорил Эренбург. Очень хвалил и не сомневался. Хвалили Образцов, Солодовников. Сейчас пьеса лежит опять в Реперткоме.

10 декабря

Начал писать новую пьесу. Работаю мало. Целый день у меня народ. Живу я все еще в гостинице «Москва», как и жил. В газете «Британский союзник» 3 декабря напечатали, что моя «Снежная королева» была поставлена в новом детском театре в Манчестере. Сейчас театр гастролирует в Лондоне. Напечатано три фотографии...

15 декабря

Я почти ничего не сделал за этот год. «Дракона» я кончил

21 ноября прошлого года. Потом все собирался начать новую пьесу в Сталинабаде. Потом написал новый вариант «Дракона». И это все. За целый год. Оправданий у меня нет никаких. В Кирове мне жилось гораздо хуже, а я написал «Одну ночь» (с 1 января по 1 марта 42 года) и «Далекий край» (к сентябрю 42 года). Объяснять мое ничегонеделание различными огорчениями и бытовыми трудностями не могу.

1945 г

23 июля

17 июля 1945 года я переехал на старую мою квартиру, которую в феврале 42-го разбило снарядом. Квартира восстановлена. Так же окрашены стены. Я сижу за своим прежним письменным столом, в том же павловском кресле. Много сохранилось из мебели. Точнее – нам кажется, что много, потому что думали мы, что погибло все. Часть вещей спрятала для нас Пинегина, живущая в квартире наискосок от нас. Она уезжала на фронт. Квартира ее была запечатана, и поэтому вещи сохранились. Итак, после блокады, голода, Кирова, Сталинабада, Москвы я сижу и пишу за своим столом у себя дома, война окончена, рядом в комнате Катюша¹⁴, и даже кота мы привезли из Москвы.

11 августа

Ночью шел по бульвару вдоль Марсова поля. Взглянул на Михайловский сад и сам удивился – до того он был прекрасен. Точнее, как меня потрясла его красота – вот что меня удивило. Вечером девятого пошел к Герману с Наташей. По дороге мы услышали позывные московского радио. У Германа нет приемника, и только поздно вечером мы узнали, что

¹⁴ Шварц Екатерина Ивановна (1903–1963) – вторая жена Е. Л. Шварца.

началась война с Японией. Мы сидели в большой комнате Германа, окнами она выходит на Мойку. Напротив – квартира Пушкина. Все окна в ней без стекол. Вместо них – не то серая фанера, не то кровельное железо. И у Германа из четырех комнат полупригодны для жилья только две. В окнах фанера, только в одном есть почти полностью стекла.

12 августа

Сценарий «Золушки» все работается и работается. Рабочий сценарий дописан, перепечатывается, его будут на днях обсуждать на художественном совете, потом повезут в Москву. Много раз собирались мы у Надежды Николаевны Кошеверовой – она будет ставить «Золушку». Собирались в следующем составе: я, оператор Шапиро и художник Блейк или Блэк – не знаю, как он пишет свою фамилию. Кошеверова – смуглая, живая, очень энергичная, но ничего в ней нет колючего, столь обычного у смуглых, живых и энергичных женщин. И не умничает, как все они. Шапиро – полуеврей, полугрузин. Приятный, веселый, беспечный, сильный человек. Странно видеть, как дрожит у него одна рука иногда, и как он вдруг иногда начинает заикаться. Это следствие сильной контузии. В начале войны он был в ополчении. Блэк – длинный, черный, в профиль чем-то похож на Андерсена. В этом – иногда – вдруг ощущается нечто женственное и капризное. Он – самый активный из всех обсуждающих рабочий сценарий. Но предложения его меня часто приводили в отчаянье.

То ему хочется, чтобы король любил птиц, то – чтобы часы на башне били раньше, чем они бьют в литературном сценарии.

21 октября

Сегодня день моего рождения. Мне исполнилось сорок девять лет. Пришелся этот день на воскресенье. И я мечтаю, что это к счастью. В этом году очень ранняя осень перешла в настоящую зиму дня два-три назад. На крыше дома напротив я вижу снег, на карнизах тоже, на остатках водосточных труб висят сосульки. Я за последние два месяца с огромным трудом, почти с отвращением, работал над сказкой «Царь Водокрут». Для кукольного театра. Вначале сказка мне нравилась. Я прочел ее труппе театра. Два действия прочел. Актеры хвалили, но я переделал все заново. И пьеса стала лучше, но опротивела мне. Но, как бы то ни было, сказка окончена и сдана. Но запуталось дело со сценарием, который заказал мне для режиссера Роу «Союздетфильм»...

«Золушку» готовят к съемкам. Боже мой, какое это громоздкое, бестолковое, неуклюжее предприятие. Картину решили делать цветной, отчего все дело еще более усложнилось. Снимать ее собираются в Праге, что тоже дела не упростит.

1946 г

18 января

Вот и пришел новый год. Сорок шестой. В этом году, в октябре, мне будет пятьдесят лет. Живу смутно. Пьеса не идет. А когда работа не идет, то у меня такое чувство, что я совершенно незащищен и всякий может меня обидеть. Новый год после пятилетнего перерыва (41–46) встречали мы в Доме писателей. Было тесно, шумно, бестолково, но сытно и не скучно. Мы пытались устроить так, чтобы у встречающих не вырезали из карточек талоны. Ездили делегацией в Ленсовет. Из поездки ничего не вышло. Талоны резали, но зато по этим талонам выдали продукты высокого качества. Жалоб не было. Было тесно, шумно, бестолково, но празднично. Тем не менее работа над пьесой не идет. 11-го Михалков читал в Комедии свою пьесу «Смех и слезы». Имел огромный успех. После этого я пошел к нему обедать. Он жил в «Астории» вместе со Львом Никулиным. На другой день Михалков и Никулин читали в Доме писателей. Михалков – басни. Никулин – отрывки из книги о Шаляпине. После чтения мы ужинали в кабинете директора Дома. Были Ахматова, Зощенко, Орлов¹⁵, Лихарев¹⁶, Лифшиц, Рест¹⁷,

¹⁵ Орлов Владимир Николаевич (1908–1985) – литературовед.

¹⁶ Лихарев Борис Михайлович (1906–1962) – поэт.

¹⁷ Рест Б. (настоящие имя и фамилия Юлий Исаакович Рест-Шаро), (1907–

Меттер¹⁸, Берггольц, Макогоненко¹⁹. Михалкова я встречал раньше мало и ненадолго. На этот раз я его рассмотрел. В первый момент встречи поразил он меня сходством с генералом Игнатьевым²⁰.

4 марта

Я вот уже восьмой день пишу не менее четырех часов в день. Пишу пьесу о влюбленном медведе, которая так долго не шла у меня. Теперь она подвинулась. Первый акт окончен и получился.

10 апреля

Я получил медаль за оборону Ленинграда. За месяц до этого – медаль за доблестный труд во время войны.

17 июня

Четырнадцатого мая поехал я в Москву... Увидел в Москве после восьмилетней разлуки Заболоцкого. Много говорил с ним. Обедал с ним у Андроникова. Ехал домой как бы набитый целым рядом самых разных ощущений и

1984) – писатель, драматург, представитель «Литературной газеты» в Ленинграде в течение 20 лет.

¹⁸ Меттер Израиль Моисеевич – прозаик, драматург.

¹⁹ Макогоненко Георгий Пантелеймонович (1912–1985) – критик, литературовед.

²⁰ Игнатьев Алексей Алексеевич (1877–1954) – дипломат, генерал-лейтенант Советской Армии, автор воспоминаний «Пятьдесят лет в строю».

впечатлений и вот до сих пор не могу приняться за работу. Странное, давно не испытанное с такой силой ощущение счастья. Пробую написать стихотворение «Бессмысленная радость бытия»²¹ ... Здесь с двенадцатого по четырнадцатое июня проходило совещание о современной драматургии. Выступали Иоганн Альтман²², Коварский²³ – с докладами, Гус²⁴, Гринберг²⁵, Цимбал²⁶, Малюгин, Крон²⁷, Зощенко и многие другие – с речами. Выступал и я.

21 октября

Сегодня мне исполнилось пятьдесят лет. Вчера сдал исправления к сценарию «Золушка». Сидел перед этим за работой всю ночь. К величайшему удивлению моему, работал

²¹ Вот полный текст стихотворения: Бессмысленная радость бытия. Иду по улице с поднятой головою И, шурясь, вижу и не вижу я Толпу, дома и сквер с кустами и травой. Я вынужден поверить, что умру. И я спокойно и достойно представляю, как нагло входит смерть в мою нору, как сиротеет стол, как я без жалоб погибаю. Нет. Весь я не умру. Лечу, лечу. Меня тревожит солнце в три обхвата И тень оранжевая. Нет, здесь быть я не хочу! Домой хочу. Туда, где я страдал когда-то. И через мир чужой врываюсь В знакомый лес с березами, дубами И, отдохнув, я пью ожившими губами Божественную радость бытия.

²² Альтман Иоганн Львович (1900–1955) – литературовед, театральный критик.

²³ Коварский Николай Аронович (1904–1974) – критик, кинодраматург.

²⁴ Гус Михаил Семенович (1900–1984) – литературовед, театровед, драматург.

²⁵ Гринберг Иосиф Львович (1906–1980) – литературовед, критик.

²⁶ Цимбал Сергей Львович (1907–1978) – критик. В 1946–1947 гг. – зав. лит. частью Ленинградского театра комедии.

²⁷ Крон Александр Александрович (1909–1983) – писатель, драматург.

с наслаждением, и сценарий стал лучше. В «Вечернем Ленинграде» написал Янковский в статье о детской драматургии, что я один из лучших детских драматургов, но что мне нужно общими силами помочь заняться современной темой. Что же случилось за этот год от сорокадевятiletнего возраста до пятидесятилетнего? Написано: «Царь Водокрут» (сценарий и пьеса), «Иван честной работник»²⁸ (пьеса для ремесленников. Для их самодеятельности.), сценарий «Первая ступень»²⁹ – для «Союздетфильма», сделал почти два акта пьесы для Акимова. Начал пьесу «Один день»³⁰. А пережил что? Два раза был в Москве: в мае и в августе. Был в Сочи. А чем был окрашен для меня этот год? Не знаю. Несколько раз испытывал просто бессмысленное ощущение счастья. Не знаю отчего. Думать, что это предчувствие, перестал. Бессмысленная радость бытия...

²⁸ В 1947 г. Центральный детский театр знакомился с пьесой Шварца «Иван честной работник». В архиве театра сохранилось два варианта пьесы. 24 мая 1971 г. она обсуждалась на заседании художественного совета, была принята к постановке, но поставлена не была.

²⁹ В дальнейшем сценарий был назван «Первоклассница».

³⁰ В 1946 г. Шварц начал работать над пьесой «Один день», посвященной молодому советскому человеку. Затем, не окончив пьесу, изменил в июле 1949 г. ее тему и написал пьесу «Первый год». После неоднократных переделок пьеса получила название «Повесть о молодых супругах» и была поставлена 30 декабря 1957 г. в Ленинградском театре комедии.

1947 г

7 января

Позвонил Акимов, пригласил к 3 часам в театр подписать договор на пьесу «Один день». В половине третьего я пошел с Наташей через Михайловский сад погулять. Вышел к Петру, который стоит у Михайловского замка. Памятник покрыт инеем. Он мне нравится все больше и больше. Наташа проводила меня до театра. Там на площадке меня радостно приветствовали актеры. Наверху Флоринский читал статью для сборника о театрах Ленинграда во время войны. Статью о Театре комедии. Слушали Акимов, Бартошевич³¹, Рахманов.

9 января

Дома узнал, что звонил Эйхенбаум³². Оказывается, он нашел в сборнике (точнее, в книге М. К. Корбута, т. 2) «Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина за сто двадцать пять лет» (1804/5–1929/30) фотографию отца и упоминание о нем. (Он был в подпольном социал-демократическом] кружке университета). Об отце на с. 204 говорится в примечании 57: «Шварц Лев Борисович (Васильевич) – еврей, сын мещанина; род. 10.XII.1874 г.

³¹ Бартошевич Андрей Андреевич (1899–1949) – театровед.

³² Эйхенбаум Борис Михайлович (1886–1959) – литературовед.

в Керчи, обучался в Керченской, Кубанской и Екатеринодарской гимназиях. В 1892 г. зачислен на мед. ф. Каз. ун., причем ректор предложил инспектору студентов учредить за Ш. „особо бдительный надзор“ ввиду данных, изложенных в характеристике Екатеринодарской гимназии В характер, говорилось, что Ш. в бытность в VIII кл. „точно переродился, стал раздражителен, дерзок, запальчив, начал выказывать недовольство на гимназич. порядки, был замечен в дерзком отношении к старшим“. В 1896 г. Ш. крестился в связи, по-видимому, со скорой женитьбой на православной (М. Ф. Шелковой). В 1898 г. унив. окончил (Дело инсп. студ. 1892 г. № 208 о зачисл. в студ. Л. Б. (В.) Шварца на 43 л.)». А на 185 с. – фотография отца – совсем мальчик, с очень славным, мягким выражением. Отец умер в 1940-м и не знал об этой книге. И мама³³ тоже. Жалко. Если буду в Казани, загляну в «дело».

15 января

Ну вот и кончается моя старая тетрадь. Ездил она в Сталинабад, ездила в Москву. В Кирове ставили на нее электрическую плитку – поэтому в центре бумага пожелтела. Забывал я ее, вспоминал. Не писал месяцами, писал каждый день. Больше всего работал я в Кирове и записывал там больше

³³ Шварц (урожд. Шелкова) Мария Федоровна (1875–1942) – мать Е. Л. Шварца. Участница любительских спектаклей в Пушкинском народном доме, член правления Майкопского артистического кружка.

всего...

Начну теперь новую тетрадь. А вдруг жизнь пойдет полегче? А вдруг я наконец начну работать подряд, помногу и удачно? А вдруг я умру вовсе не скоро и успею еще что-нибудь сделать? Вот и вся тетрадь.

16 января

Года с двадцать шестого были у меня толстые переплетенные тетради, в которые я записывал беспорядочно, что придется и когда придется. Уезжая в декабре 41-го из Ленинграда в эвакуацию на самолете, куда нам разрешили взять всего по 20 кило груза, я тетради эти сжег, о чем очень жалею теперь. Но тогда казалось, что старая жизнь кончилась, жалеть нечего. В Кирове в апреле 42-го завел я по привычке новую тетрадь, которую и кончил вчера... По бессмысленной детской скрытности, которая завелась у меня лет в тринадцать и держится упорно до пятидесяти, не могу я говорить и писать о себе. Рассказывать не умею. Странно сказать – но до сих пор мне надо сделать усилие, чтобы признаться, что пишу стихи. А человек солидный, ясный должен о себе говорить ясно, с уважением. Вот и я пробую пересилить себя. Пишу о себе как ни в чем не бывало.

18 января

Сегодня кончил, наконец, сценарий³⁴. Первый раз в жизни

³⁴ Шварц работал над сценарием «Первоклассница».

работал так мучительно.

30 января

В пьесе «Летучий голландец» стихи «Меня господь благословил идти»³⁵ читает человек вроде Диккенса, который яростно спорит с человеком вроде Салтыкова-Щедрина или Теккерея. Его обвиняют в том, что он описывает мир уютнее, злодейство увлекательнее, горе трогательнее, чем это есть на самом деле. Он признается, что закрывает глаза на то, что невыносимо безобразно. А затем читает это стихотворение. Теккерей и Щедрин соглашаются, но потом берут свои слова обратно. Ты, говорят, опьянил нас музыкой на две минуты. Но теперь с похмелья мы стали еще злее. Вот. Пишу «Один день». Пока писал сценарий, думал об «Одном дне». А занялся им и думаю все время о «Летучем голландце»... Пока сценарий нравится всем, кто успел его прочесть.

3–4 февраля

Пошли ужасно бестолковые дни. Вчера с утра делал то, что совсем неинтересно, – кукольную пьесу для Шапиро³⁶,

³⁵ Вот полный текст стихотворения: Меня господь благословил идти, Брести велел, не думая о цели, Он петь меня благословил в пути, Чтоб спутники мои повеселели. Иду, бреду, но не гляжу вокруг, Чтоб не нарушить божье повеленье, Чтоб не завить по-волчьи вместо пенья, Чтоб сердца стук не замер в страхе вдруг. Я человек. А даже соловей Зажмурившись поет в глуши своей.

³⁶ В Ленинградском театре кукол, директором и художественным руководителем которого был Савелий Наумович Шапиро, пьеса шла под названием «Вол-

и вдруг получилось ничего себе. Работал с наслаждением. Пошел к трем часам в Театр кукол. Прочел начало. Шапиро был очень доволен. Вечером я получил «Литературную газету», где была статья Гитовича. Понес к нему. Там были молодые поэты – Чивилихин, Шефнер. Они пили водку и ели картошку. И я выпил водки и потом слушал стихи. Стихи мне понравились, но вечер все-таки был мучительный. Идиотское неумение встать и уйти, несмотря на то, что все время чувствуешь, что время уходит напрасно, дома ждет работа. Ночью звонил Фрээз³⁷, сценарий студией принят, теперь читать его будут в министерстве. Утром в двенадцать пошел в Комедию на реперткомовский просмотр михалковской сказки. Смотрел, на этот раз с первого акта до последнего. Был полный зал приглашенных. Настоящий успех. Я смотрел с наслаждением, да и все, по-моему, рады были, что им весело, смешно, легко. Потом обсуждали и разрешили. Была у нас Наташа. Потом позвонил Юра Герман, что придет ночевать. Потом зашел Каверин с дочкой. А в двенадцать приехал Юра Герман. Он прочел за ужином отрывок из своего романа. Интересно, весело, уютно, в меру точно, в меру мягко³⁸.

20–21 февраля

шебники».

³⁷ Фрээз Илья Абрамович (1909–1994) – кинорежиссер.

³⁸ В 1944–1948 гг. Ю. П. Герман работал над романом «Несколько дней», посвященным жизни авиационного гарнизона Северного флота во время Великой Отечественной войны. Роман не был закончен.

Целый день вожусь с первым актом пьесы для Комедии. Завтра в двенадцать читка, а у меня едва намечен первый акт. Сажусь, напишу две строчки, встаю, ловлю по радио такую музыку, которая могла бы мне помочь, снова пробую писать, прихожу в ужас от того, как мало сделано. Обедать садимся рано. У меня так дрожат руки, что я отказываюсь от супа. После обеда повторяется та же история. К вечеру у меня написаны всего две страницы. В половине одиннадцатого я ложусь на час поспать, а с двенадцати, наконец, работа начинает идти по-настоящему... Я, наконец, пришел в то приятнейшее состояние, когда удивляет одно: почему я не пишу все время, почему я все откладываю да пишу понемножку, когда это такое счастье. Теперь я не искал поводов оторваться от работы, а наоборот, меня раздражала эта необходимость. К восьми часам первый акт был готов. Я поспал до одиннадцати и к двенадцати был в театре. Акимов, очевидно, не ждал, что я приду. Он улыбнулся радостно, и мы поцеловались, что у него не в манерах. Он писал портрет Володи Лифшица, который тоже остался слушать. Слушали первый акт: Акимов, Ханзель³⁹, Зинковский⁴⁰, Осипов⁴¹, Яценко (директор театра), Рахманов. Я читал по выработанной

³⁹ Ханзель Иосиф Александрович (1909–1985) – артист.

⁴⁰ Зинковский Абрам Соломонович (1909–1985) – артист. Ряд лет совмещал работу артиста с заведыванием режиссерским управлением театра.

⁴¹ Осипов Владимир Иванович – секретарь парторганизации Ленинградского театра комедии.

привычке, не подымая глаз, чтобы не думали, что я стараюсь разглядеть, какое произвожу впечатление. Но чувствовал и без этого, что слушают хорошо. Обсуждали долго, очень хвалили. (Слушал еще Бонди⁴², забыл сказать.) Говорили главным образом о втором и третьем актах. (Еще не существующих.) Высказывали пожелания. Решили, что второй акт я буду читать через неделю, 28-го.

1 марта

В ночь на сегодня позвонил Фрэнз и сообщил, что у него приятные и неприятные новости. Приятные – сценарий очень хвалили на худсовете министерства. Решили считать его важнейшей картиной «Союздетфильма». Неприятные: в силу этого Фрэнза, которому сценарий обязан своим существованием (без него я не стал бы возиться с этой труднейшей темой), хотят снять и назначить другого режиссера. Я дал протестующую телеграмму в министерство и «Союздетфильм». После разговора с Фрэнзом долго не мог уснуть.

19 марта

Ночью разговаривал с Фрэнзом по телефону. Его окончательно назначили режиссером «Первоклассницы».

20–22 марта

⁴² Бонди Алексей Михайлович (1892–1952) – артист, драматург, музыкант, художник.

А в пятницу я пошел, как обещал, на просмотр к Акимову. Сталинский комитет встречали на лестнице все назначенные для этой цели артистки и артисты – и я, по обещанию. И вот они пришли: рослый Хорава с лысеющей бритой головой, с несколько африканским своим лицом; Гольденвейзер, беленький, точнее – серебряный, сильно одряхлевший, с кроткой безразличностью выражения; Михоэлс с далеко оттопыренной нижней губой, глазами усталыми и вместе дикими, с пышной шевелюрой вокруг лысины. Вежливейший, глубоко вывихнутый Евгений Кузнецов⁴³, Храпченко⁴⁴ – большой, широколицый, с зелеными кругами под глазами, с острым носом. Эрмлер⁴⁵. Мы проводили их в комнату директора. Бениаминов⁴⁶ пытался помочь Храпченко снять пальто. Он отнекивался. Я сказал: «Не дают человеку выдвинуться». Храпченко засмеялся. Я почувствовал себя польщенным и рассердился на себя за это только вечером. Потом все пошли смотреть «Старые друзья». Спектакль необычайно вырос после премьеры. Я был доволен, что пошел. Забыл отвратительное чувство неловкости, которое так страшно мучает меня среди малознакомых, очень знаменитых современников. В антракте гостей принимали в кабинете Аки-

⁴³ Кузнецов Евгений Михайлович (1899–1958) – театровед, критик.

⁴⁴ Храпченко Михаил Борисович (1904–1986) – литературовед, председатель Комитета по делам искусств СССР.

⁴⁵ Эрмлер Фридрих Маркович (1898–1967) – кинорежиссер.

⁴⁶ Бениаминов Александр Давидович – артист.

мова, где он устроил выставку портретов. Рядом, в комнате секретаря, угощали гостей бутербродами, пирожными, чаем, пивом, лимонадом. От спектакля они были в восторге. Вечером пришел Миша Слонимский. У него неладно с пьесой – Александринка не берет. Я взял пьесу. Утром в субботу ездил на фабрику. Смотрел сцену леса⁴⁷. Понравилась.

23–26 апреля

В среду произошло неожиданное событие. Я получил из Берлина письмо о том, что «Тень» прошла в Театре имени Рейнгардта, точнее, в филиале этого театра, Kammerspiele⁴⁸, с успехом, «самым большим за много лет», – как сказано в рецензии. «Актеров вызывали к рампе сорок четыре раза». Я, несколько ошеломленный этими новостями, не знал, как на это реагировать. Пьеса написана давно. В 39-м году. Я не очень, как и все, впрочем, люблю, когда хвалят за старые работы. Но потом я несколько оживился. Все-таки успех, да еще у публики, настроенной враждебно, вещь скорее приятная... Пятница началась интересно. Телеграмма из Москвы. Кошеверова и Погожева⁴⁹ сообщают, что худсовет мини-

⁴⁷ Сцена леса из фильма «Золушка».

⁴⁸ 3 апреля 1947 г. состоялась премьера спектакля «Тень» в филиале Немецкого театра им. Рейнгардта – Камерном театре («Kammerspiele»). Письмо написал А. Л. Дымшиц, бывший в то время начальником отдела культуры Управления пропаганды Советской военной администрации в Германии. К письму были приложены вырезки из немецких газет.

⁴⁹ Погожева Людмила Павловна – киновед, критик.

стерства принял «Золушку» на отлично. Что особенно отмечена моя работа. Поздравляют. Едва я успел это оценить – телефон: Москвин⁵⁰ поздравляет – ему Кошеверова звонила из Москвы. Едва повесил трубку – Эрмлер звонит. То же поздравляет. Потом начались звонки со студии. Я принимал все поздравления с тем самым ошеломленным, растерянным ощущением, с каким встречаю успех. Брань зато воспринимаю свежо, остро и отчетливо. «Золушка», очевидно, для тех, кто не знает литературный сценарий, приемлема. Ну вот. Надо ли говорить, что это еще больше выбило меня из колеи. Вздуроражило. Суббота принесла новые сенсации. Васильев⁵¹ телеграфировал Глотову⁵², что поздравляет его и весь коллектив. Что «Золушка» – победа «Ленфильма» и всей советской кинематографии. Глотов приказал эту телеграмму переписать на плакат и выставить в коридоре студии.

27–28 апреля

Чудеса с «Золушкой» продолжаются. Неожиданно в воскресенье приехали из Москвы оператор Шапиро и директор. Приехали с приказанием – срочно, в самом срочном порядке, приготовить экземпляр фильма для печати, исправив дефектные куски негатива. Приказано выпустить карти-

⁵⁰ Москвин Андрей Николаевич (1901–1961) – кинооператор.

⁵¹ Васильев Сергей Дмитриевич (1900–1959) – кинорежиссер, сценарист, художественный руководитель киностудии «Ленфильм».

⁵² Глотов Иван Андреевич – директор киностудии «Ленфильм».

ну на экран ко Дню Победы. Шапиро рассказывает, что министр смотрел картину в среду. Когда зажегся свет, он сказал: «Ну что ж, товарищи: скучновато и космополитично». Наши, естественно, упали духом. В четверг смотрел «Золушку» худсовет министерства. Первым на обсуждении взял слово Дикий. Наши замерли от ужаса. Дикий имеет репутацию судьи свирепого и неукротимого ругателя. К их великому удивлению, он стал хвалить. Да еще как! За ним слово взял Берсенев. Потом Чирков. Похвалы продолжались. Чирков сказал: «Мы не умеем хвалить длинно. Мы умеем ругаться длинно. Поэтому я буду краток...» Выступавший после него Пудовкин сказал: «А я, не в пример Чиркову, буду говорить длинно». Наши опять было задрожали. Но Пудовкин объяснил, что он попытается длинно хвалить. Потом хвалил Соболев. Словом, короче говоря, все члены совета хвалили картину так, что министр в заключительном слове отметил, что это первое в истории заседание худсовета без единого отрицательного отзыва. В пятницу в главке по поручению министра режиссерам предложили тем не менее внести в картину кое-какие поправки, а в субботу утром вдруг дано было вышезаписанное распоряжение: немедленно, срочно, без всяких поправок (кроме технических) готовить экземпляр к печати. В понедельник зашел Юра Герман. К этому времени на фабрике уже ходили слухи, что «Золушку» смотрел кто-то из Политбюро. Юра был в возбужденном состоянии по этому поводу...

3–5 мая

Сперанский – артист театра Образцова. Небольшой, черненький, узкоглазый, скромный. Виски уже поседел. Вокруг Образцова собрались люди, единственные в своем роде. Они так любят дело, так впечатлительны и уязвимы, что любят делать его так, чтобы их не видели. Все они – настоящие художники, а Сперанский – первый из них. Я давно уважал его за игру в «Аладдине» и в «Короле Олене». В этой последней пьесе роль свою он написал сам (он играет Труффальдино). Написал отлично. Ко мне он пришел познакомиться и прочесть свою пьесу «Краса ненаглядная». Пьеса отличная. Нет ни признака стилизации. Пьеса насквозь русская – не по одному языку. Язык здесь служит, а не лежит, как макеты в выставочной витрине. Он служит, действует, а именно в действии и чувствуешь и понимаешь, что он драгоценный, живой. Прелестно начало, когда царица говорит царю, что царевича женить пора. Он стал грубить и дверями хлопать. Разбойники, баба-яга, девка-чернавка, Кощей, а пьеса трогает за живое именно прелестнейшей жизненностью. И при этом она легка. Так аппетитно легка, что мне захотелось написать что-нибудь соответствующее. Настоящий признак того, что тебя коснулось настоящее искусство. Пока шло чтение, подошли Зарубина⁵³ и Чокой⁵⁴. Сели ужинать. Пили. Настрое-

⁵³ Зарубина Ирина Петровна – артистка.

⁵⁴ Чоккой Татьяна Ивановна – артистка.

ние было прелестное – все из-за пьесы.

Часа в четыре звонок. Пришел Суханов⁵⁵. Из дальнейших разговоров выяснилось, что он выпил литр бессарабского вина, что было совершенно незаметно. Этот блондин с маленькими светлыми глазами – явление любопытное. Строгий пес, конь-людоед, кошка с характером обычно имеют невеселое и нелегкое прошлое. Суханов ближе всего к кошке с характером. Не предсказать – когда укусит, когда приласкается. Очень талантлив. Как многие талантливые люди – ненавидит хвалить, когда все хвалят, и любит заступаться, когда все ругают. Это последнее, впрочем, случается с ним значительно реже.

8–12 мая

Дом кино устроил из просмотра «Золушки» в некотором роде праздник. В вестибюле – гипсовые фигуры выше человеческого роста. Какие-то манекены в средневековых одеждах. В фойе выставка костюмов на деревянных безголовых манекенах же. (Внизу они с головами и руками.) На стенах фойе – карикатуры на всех участников фильма. На площадках – фото. Но праздничней всего публика, уже посмотревшая первый сеанс. Они хвалят картину, а главное – сценарий, так искренне, что я чувствую себя именинником, даже через обычную мою в подобных случаях ошеломленность. Звонок. Идем в зрительный зал. На занавесе, закрывающем

⁵⁵ Суханов Павел Михайлович (1911–1973) – артист, режиссер.

экран, нашиты буквы: «Золушка». Трауберг идет говорить вступительное слово. Его широкая физиономия столь мрачна, что я жду, что он, как всегда, будет нас бранить за нехорошее поведение. (Так он делает всегда по средам, перед просмотрами иностранных картин. То мы членские взносы не платим, то не по тем пропускам ходим, то не так сидим.) На этот раз он милостив. Хвалит картину, в особенности сценарий, и представляет публике виновников торжества. Нам аплодируют. Но и тут он проявляет характер. Не называет и не представляет публике Акимова, сидящего в зале, хотя декорации его были отмечены в решении худсовета. Ругает он на этот раз только дирекцию студии за то, что она хороший экземпляр послала в Москву, а плохой показывает в Доме кино. Начинается просмотр. Смотрю на этот раз с интересом. Реакции зала меня заражают. После конца – длительно и шумно аплодируют. Перерыв. Обсуждение. Хвалят и хвалят...

Иду на вернисаж выставки Акимова в Союз художников. Торжественное заседание перед выставкой. Говорят речи Серов⁵⁶, Морщихин⁵⁷, художник Рыков⁵⁸. Затем публику приглашают в выставочные залы. Впечатление от выставки солидное – два больших зала и хоры заняты работами Акимо-

⁵⁶ Серов Владимир Александрович (1910–1968) – художник.

⁵⁷ Морщихин Сергей Александрович – режиссер, зам. председателя Ленинградского отделения ВТО.

⁵⁸ Рыков Александр Викторович (1892–1966) – художник.

ва. Портреты, эскизы постановок, макеты. (Два моих портрета – 39 и 43 года. На первом – я толст. На втором – тощ.) Театральные работники хвалят. Художники выставку поругивают.

15–22 мая

В понедельник звонит утром Бартошевич, напоминает, что я обещал выступить на обсуждении выставки Акимова. Обещаю. Вечером выхожу. Дом художников, где когда-то было Общество поощрения искусств и где учился когда-то лучший мой друг, пропавший без вести Юрий Соколов. Малый выставочный зал полон. Собрание открывает молодой и толстый Серов. Бартошевич делает доклад, мямлит, тянет. Основной прием очень опасный. Он излагает доводы противников Акимова, а потом крайне вяло их опровергает. «Утверждают, ссылаясь на то-то и то-то, что Акимов – формалист. По-моему, это не верно. Говорят, что он сух, рассудочен и однообразен, ссылаясь на такие-то и такие-то его работы. С моей точки зрения, это не так». В зале начинают уже посмеиваться. Как всегда, после речи докладчика никто не хочет выступать первым. Из президиума подходит ко мне художница Юнович⁵⁹. Уговаривает выступить меня. Я отказываюсь. Наконец соглашается выступить Цимбал. Потом говорит Левитин⁶⁰... Говорит храбро. Хвалит безоговорочно...

⁵⁹ Юнович Софья Марковна – театральный художник.

⁶⁰ Левитин Григорий Михайлович – врач, автор статей о художниках.

Затем, наконец, приходится говорить мне. Говорю о смежности и раздельности искусств. Удивляюсь тому, что в литературе, когда хотят похвалить, пользуются терминами других искусств. О слове говорят: «Музыкально. Живописно». Художники же говорят: «Литературно», – когда хотят выругать. Признаю, что это явление здоровое. Каждое искусство должно обходиться своими средствами. Я сам не люблю, скажем, программной музыки – но не слишком ли дифференцировались искусства? Почему не только передвижники, но и «Мир искусства» шли в ногу со всеми передовыми отрядами литературы, музыки, философии своего времени, почему их выставки были переполнены зрителями? Почему и сейчас полно в Филармонии? Говорю об Акимове как о художнике, в котором, независимо от того, что он делает, внимательный человек узнает человека с переднего края, боевого художника, деятеля искусств. Это пограничник, не охраняющий границы, а вторгающийся на чужие территории. Как настоящий боец, он и смел и разумен. Бывают у него и победы и поражения. Ну вот и все в общих чертах. Затем выходит художник Павлов⁶¹ с лицом злодея, высокий, бледный, черные усы, приказчиный нос. Яростно громит Акимова за его портреты. Он не видит здесь борьбы за социалистический реализм. Его поддерживает маленький человечек, фамилии которого я не расслышал, преподаватель Академии. Юнович Акимова защищает. Серов говорит заключительное слово очень толко-

⁶¹ Павлов Николай Александрович (1899–1969) – художник-график.

во и очень доказательно. Хваля вежливо Акимова, обвиняет его как раз в недостаточности формализма. Нельзя бороться с фотографией, увеличивая или уменьшая на сантиметр нос, вытягивая шею натуры. Надо найти форму для таких опытов.

29–30 августа

Позвонили из Союза, что в пять часов в готической гостиной встреча с Эльзой Триоле и Арагоном⁶². Пошел в Союз. Там Прокофьев, Браусевич⁶³, Берггольц, Рест, Черненко⁶⁴, Капица⁶⁵, Зоя Никитина⁶⁶. В начале шестого приезжают гости. Эльза Триоле – маленькая, с мужским выражением лица, прическа с огромной искусственной косой надо лбом, светлые, неестественно блестящие глаза, вуаль на лице, подбородок и шея очень пожилой женщины. Арагон – высокий, узкоплечий, седой, лицо моложавое, тонкое, правильное. Что-то мальчишеское в выражении. Лиля Брик черно-

⁶² В конце августа – начале сентября 1947 г. французские писатели Луи Арагон и Эльза Триоле были гостями Советского Союза. Они посетили Ленинград, а 9 сентября в Политехническом музее в Москве состоялся их творческий вечер.

⁶³ Браусевич Леонид Тимофеевич (1907–1955) – писатель, автор пьес для кукольного театра.

⁶⁴ Черненко Александр Иванович (1897–1956) – писатель.

⁶⁵ Капица Петр Иосифович – писатель.

⁶⁶ Никитина Зоя Александровна (1902–1973) – редакционно-издательский работник. В первом браке замужем за Н. Н. Никитиным, во втором – за М. Э. Козаковым; мать артиста М. М. Козакова.

глазая, энергичная. Ее муж. Идем в гостиную. Я сижу рядом с Лилей Брик. Она рассказывает об Арагоне и Триоле. Оба необыкновенно трудоспособны. Работают целыми днями и не понимают, как можно ничего не делать хоть несколько часов подряд. Оба необыкновенно смелы. (У Арагона в петлице ленточки пяти высших французских военных орденов.)

28–30 сентября

«Первоклассница» снимается в Ялте, и, по слухам, получается отлично. Пьеса, написанная для Шапиро, тоже в работе, хотя ответа из Москвы он еще не получил. (Из Реперткома). В театре Деммени заново поставили «Сказку о потерянном времени». С периферии приходят письма (адресованные, правда, не мне, а актерам), из которых ясно, что картина «Золушка» понята именно так, как мне хотелось. А самое главное, я пишу новый сценарий и многое в нем пока как будто выходит. Сценарий о двух молодых людях, которые только что поженились, и вот проходит первый год их жизни с первыми ссорами и так далее и тому подобное.

1948 г

21 апреля

Приезжали немецкие писатели⁶⁷. Бернгард Келлерман очень, очень старый. Я в детстве любил «Туннель» и ощущал эту книгу как некое жизненное явление, без автора, без начала, – как чудо; словом, так, как ощущается книга в детстве. И расстроился, увидев дряхлого, земного автора, как удивлялся и расстраивался много раз. И, вообще, что-то он мне не показался. Остальные немцы ничего себе, тем более что никого из них я не читал раньше. Еще что? Читал в Комедии два акта «Медведя». Впрочем, об этом я уже писал. Пробую пьесу кончить. Моя собственная неуверенность мешает мне направить ее по той или другой дороге. Что еще? Попробую писать детскую пьесу. Попроще сюжетом и побогаче.

29 августа

Необходимо решить, что я буду писать дальше. Вот и буду размышлять вслух, чтобы заодно научиться печатать на машинке.

Прежде всего мне надоела моя сказочная манера писать.

⁶⁷ В апреле 1948 г. по приглашению Союза советских писателей в СССР прибыла группа немецких писателей и деятелей культуры. В составе делегации были Бернгард Келлерман, Анна Зегерс, Вольфганг Лангхоф, Эдуард Клаудиус, Гюнтер Вайзенборн и др.

Все это искусство не слишком точное. Это мне особенно заметно, когда я читаю сказки моих коллег. И не все туда уложишь. В сказку-то.

Тем не менее надо подумать именно о сказке для МТЮЗа. У меня договор с ними. Театр этот со мною всегда был трогательно внимателен и мил.

О чем же сочинить сказку? Приятнее всего мне сказка трогательная. Точнее, сейчас мне хочется сделать именно такую сказку. Трогательнее всего, пожалуй, история о братце и сестрице, об Аленушке и Иванушке. Но боюсь, что это выйдет похоже на «Снежную королеву».

17 сентября

Не видишь человека дня два, потом увидишь, и он спросит: «Что нового?» Столько за эти два дня передумано, столько пережито. «Что нового? – отвечаешь. – Да ничего...»

4 октября

При бесконечных разговорах о влиянии, которые так любят литературоведы, кроме многих других вещей, они не учитывают одного обстоятельства. Я полшутя изложил его в стихах следующим образом:

На душе моей темно,
Братцы, что ж это такое?

Я писать люблю одно,
А читать люблю другое!

И в самом деле. Я люблю Чехова. Мало сказать люблю – я не верю, что люди, которые его не любят, настоящие люди. Когда при мне восхищаются Чеховым, я испытываю такое удовольствие, будто речь идет о близком, лично мне близком человеке. И в этой любви не последнюю роль играет сознание, что писать так, как Чехов, его манерой, для меня невысказано. Его дар органичен, естественно, только ему. А у меня он вызывает ощущение чуда. Как он мог так писать?

А романтики, сказочники и прочие им подобные не вызывают у меня ощущения чуда. Мне кажется, что так писать легко. Я сам так пишу. Пишу с наслаждением, совсем не похожим на то, с которым читаю сочинения, подобные моим. Точнее, родственные моим.

1950 г

30 июня

Я помню себя лет с двух. Во всяком случае, я помню отчетливо, что стою во дворе, возле красной кирпичной стены. Кто-то спрашивает: «Сколько тебе лет?» И я отвечаю: «Два года». Помню железный флюгер в виде петуха за окном нашей комнаты в Казани. Полукруглые ступени, ведущие в университетскую клинику. Каюту. Палубу пассажирского парохода и маленький буксирный колесный пароход, бегущий у высокого зеленого берега. Мы много переезжали, – вероятно, поэтому я помню себя столь маленьким.

1 июля

Да, мы часто переезжали, когда я был маленький. Помню поезда. Помню огромные залы, буфетные залы, где ждали мы пересадки. Тоненькие макароны, которые я почему-то считал свойственными только вокзалам и которые иногда с соответствующей мясной подливкой и теперь напоминают мне детское ощущение дороги, праздника. Поездки всегда были для меня праздником.

25 июля

Что я еще помню из самого раннего детства? Квартиру в Екатеринодаре. То во дворе, в красном кирпичном доми-

ке, то комнату, которую мы у кого-то снимали, очевидно. Во всяком случае, хозяйские девочки показывали мне «Ниву» в переплете, где сильное впечатление на меня произвела картинка «Голодающие индусы». Это были, как я теперь понимаю, разновременные наезды в родной город отца в промежутки между разными его службами до Майкопа. Помню, как в Дмитрове меня разбудила мама и сказала: «Не пугайся, мы поедем кататься». Это, очевидно, 98 или 99 год, когда отца арестовали и увезли в Казань, а мы отправились за ним.⁶⁸ Помню свидание в тюрьме. Отец и мать сидят за сто-

⁶⁸ В сохранившемся в Госархиве Краснодарского края постановлении Кубанского областного жандармского управления от 4 февраля 1913 г. дана следующая характеристика революционной деятельности Л. Б. (по крестному отцу. – Л. В.) Шварца: «Лев Васильев Шварц выкрест из евреев, мещанин, по окончании курса Екатеринодарской гимназии в 1892 г. поступил в императорский Казанский университет, который окончил в 1898 г. со степенью врача. Состоя студентом названного университета, в 1898 г. он был заподозрен в преступной пропаганде среди рабочих Алафузовских фабрик в гор. Казани (причем среди рабочих известен был под именем «Льва Борисовича»), ввиду чего подвергнут был обыску и аресту и привлечен при Казанском губернском жандармском управлении к дознанию в качестве обвиняемого в преступлении, предусмотренном 251, 252, и 318 ст. Улож. наказ., каковое дознание, как уведомил департамент полиции, разрешено было по отношению к Шварцу в административном порядке, согласно высочайшего повеления 5 июля 1900 г., подчинению его гласному надзору полиции в избранном им месте жительства, но вне столиц, столичных губерний, университетских городов и тех местностей фабричного района, в коих пребывание его будет признано министерством внутренних дел нежелательным – на три года. Проживая затем в гор. Майкопе, Лев Шварц, как лицо вредное для общественного спокойствия и порядка, приказом по Кубанской области от 29 декабря 1907 г. за № 363 был выдворен из пределов области на все время действия в ней военного положения. Кроме того, Шварц, проживая в гор. Май-

лом друг против друга, а между ними жандарм, положив сложенные руки на стол. «Не шуми! – говорит мать. – Полицейский заберет». – «А вон полицейский», – говорю я, указывая на жандарма, и все смеются. Больше ничего не помню, хотя по рассказам знаю, что на этом же свидании жандарму показалось, что, целуя на прощанье мать, отец передал ей записку; жандарм схватил мать за лицо: «Откройте рот!» Отец бросился на жандарма. И я все забыл.

27 июля

Черкасов рассказывает об Эйзенштейне: «Он боялся умереть – мексиканская гадалка предсказала ему смерть в пятьдесят лет. Когда в Доме кино хотели отпраздновать его пятидесятилетний юбилей, он сказал: „Тсс, тсс, отложим на ме-

копе как ранее, так и в настоящее время поддерживает близкое знакомство с лицами неблагонадежными в политическом отношении». Далее начальник Кубанского областного жандармского управления писал: «Признавая указанную противоправительственную деятельность вышепоименованных лиц весьма вредною для общественного порядка и спокойствия и опасною по своим последствиям в политическом отношении, в целях ограждения местного населения от их зловредного на последнее влияния, следует признать безусловно необходимым примененное удаление сих лиц из пределов Майкопского района... причем полагал бы... Льва Шварца, Василия Соловьева, Минаса Шапошникова и Афанасию Филатову выслать из пределов Кубанской области на два года». В одном из более ранних постановлений (от 10 мая 1912 г.), относящихся к той же группе лиц, было сказано, что они, «усвоив себе воззрение крайних левых партий, питают сильное озлобление против существующего правительства и, войдя между собою в тесную связь, тайно пропагандируют среди местного населения идеи в духе программы Российской социал-демократической рабочей партии».

сяц“, – и умер через две недели. Он всегда был в маске. Он меня очень любил, но откровенен со мною не был. На съемках шутил, чтобы повысить настроение. В ужасных условиях снимали мы „Грозного“. Эйзенштейн глядит в аппарат: «А ну, царюга, пять шагов вперед. Так. Полшага вправо. Шаг влево». И вдруг что-то ледяное падает мне за шиворот. Это, оказывается, Эйзенштейн нарочно подвел меня к сосульке, с которой капало. Он был суеверен – ничего не начинал в понедельник или пятницу. Как его любили в группе!»

28 июля

Историю с поросенком на пасхальном столе помню едва-едва, и то, вероятно, потому, что мать рассказывала мне ее неоднократно. Это был первый пасхальный стол, устраивавшийся у нас дома, – значит, отец уже служил твердо. В Ахтырях? Не спросил в свое время. Я утром, радостный, в новой рубаше и сапогах, вбежал в столовую. И вдруг родители услышали отчаянный плач и крики: «Хвостик, хвостик». Мать поспешила ко мне и увидела, что я показываю на поросенка, лежащего на блюде, и все повторяю, обливаясь слезами: «Хвостик». Этим я пытался (как я смутно припоминаю) объяснить ужас поразившего меня явления. Поросенок совсем как живой, с хвостиком, лежит в страшной неподвижности, разрезанный на куски... Ясно помню фамилию – барон Дризен.⁶⁹ Он устроил в Рязани любительский кружок, в

⁶⁹ Дризен (барон Остен-Дризен) Николай Васильевич (1868–1935) – театраль-

котором (как я узнал впоследствии) со славой играют почти все Шелковы. Особенно мама и дядя Федя.⁷⁰ Позже фамилия барона Дризена начинает принимать переносный смысл. Я вижу, что тетя Саша⁷¹ прячет на шкаф от своих детей виноград. «Почему?» – спрашивает мама. «К Ване (мой двоюродный брат) пришел барон Дризен», – отвечает тетя Саша.

Дед мой был цирюльник в старинном смысле этого слова. Он отворял кровь, ставил пьавки (помню их на окне в цирюльне), дергал зубы и, наконец, стриг и брил. И всегда, когда я забегал в цирюльню, там пахло лавандовой водой, стрекотали ножницы, вертелись особые головные щетки, похожие на муфту с двумя ручками, и дед и мастера весело приветствовали меня. Как я узнал впоследствии, по семейным преданиям, дед был незаконным сыном помещика Телепнева. Во всяком случае, дочери этого последнего всю жизнь навещали деда, нежно любили его, и, когда их экипаж останавливался у цирюльни, бабушка говорила деду, улыбаясь: «Иди встречай, сестрицы приехали». Благодаря сложности положения незаконнорожденного, у деда была какая-то путаница с фамилиями. Он был не только Шелков, но и Ларин. Мне объясняла мама почему, но я забыл. Отец мой, который считал, что русский писатель должен иметь русскую фами-

ный деятель, историк театра, один из организаторов Старинного театра в Петербурге.

⁷⁰ Шелков Федор Федорович – мировой судья, артист-любитель.

⁷¹ Шелкова (в замужестве Проходцова) Александра Федоровна – его дочь.

лию, хотел, чтобы я подписывался – Ларин, но я все как-то не смел решиться на это. Несмотря на свою скромную профессию, дед всем детям дал образование...

Из дядей я больше всего любил Колю⁷² – худого, длинно-го, длиннолицего, который все показывал мне разные чудеса. то бужинные шарики прыгали у него в коробочке со стеклянной крышкой, то он звал меня в коридор дачи, и там разыгрывалось целое представление: зима. Кто-то появлялся из-под лестницы, ведущей во второй этаж, съезжал на санях с горки, валил снег, все хлопали в ладоши, и я был счастлив.

Я тогда говорил не теми словами, что теперь. Передавая теперешним моим языком тогдашние богатейшие мои ощущения, я, конечно, вру, но поневоле. Привычные мои детские воспоминания как бы прикрыты отныне этими сегодняшними страницами. Но вместе с тем, оттого что сознательно я не лгу ни в одном слове, что-то встает передо мною живее, чем до сих пор. Немые дни как бы начинают и говорить и дышать.

29 июля

Квартира с большим садом у людей по фамилии Дуля. Хозяева – военные. Тут я обрезал палец левой руки, средний, и сохранил шрам до сих пор. И порезал-то не сильно – на неудачном месте – на сгибе. Здесь же я под столом разговаривал с кошкой, и вдруг она протянула свою лапу и оца-

⁷² Шелков Николай Федорович – акцизный чиновник, скульптор-любитель.

рапала меня. Это меня оскорбило. Ни с того ни с сего, без всякого повода и вызова протянула спокойно лапу – вот что обидно, – да и оцарапала. Будто дело сделала. И вскоре после этого – еще большая обида: теленок, который казался мне огромным, бычок с едва прорезавшимися тупыми, еле видными рожками погнался за мною по саду и догнал у самого перелаза во двор. И прижал своими тупыми рожками к плетню. Это само по себе было обидно, но еще обиднее показалось мне то, что, прогоняя теленка, мама смеялась!

Но вернусь в Рязань. Мирные разговоры на балконе и удивительно спокойный и ласковый дедушка, который, по маминым словам, ни разу в жизни не повысил голоса. Правда, он все грозил мне, что выпорет меня крапивой. И поэтому на карточке его, присланной нам после его смерти бабушкой, стоит надпись: «Милому внуку на память о дедушке крапивном». Но я отлично понимал, что угроза шуточная.

2 августа

Из отрывочных воспоминаний – забыл записать посещение театра. Давали, как я узнал уже много позже, «Гамлета». (Это было в Екатеринодаре.) Помню сцену, по которой ходили два человека в длинной одежде. Один из них – в короне. «О духи, духи!» – кричал один из них. Это я изображал дома. Незадолго до этого я научился здороваться и прощаться. И после спектакля я вежливо попрощался со всеми: со стульями, со стенами, с публикой. Потом подошел к афише,

имени которой не знал, и сказал: «Прощай, писаная». Все засмеялись, что очень мне понравилось.

3 августа

Отрывочные воспоминания собраны как будто полностью. Папа после ареста не мог жить и служить в губернских городах – и вот мы переехали в Ахтыри на Азовском море. Здесь отец поступил врачом в городскую больницу. С этого времени я помню все подряд, отрывочные воспоминания кончаются. Это, вероятно, 99–900 годы. Мне четыре года.

18 августа

Но вот, наконец, совершается переезд в Майкоп, на родину моей души, в тот самый город, где я вырос таким, как есть. Все, что было потом, развивало или приглушало то, что во мне зародилось в эти майкопские годы. Как бы в ознаменование столь важного для всей семьи события мы поехали в Майкоп не обычным путем. В дальнейшем мы ездили туда так: до Армавира или Усть-Лабы поездом, а оттуда на лошадях, в так называемом фургоне, до места. На этот же раз мы поехали в карете! Прямо до самого Майкопа... Помню и ночлег – вероятно, не на постоялом дворе. Стол, покрытый вязаной скатертью. Диваны в чехлах. Альбом с фотографиями. А главное, первый в моей жизни переплетенный за год журнал, который привел меня в восторг, – «Родина», издание Каспари. На последней странице каждого из пятидесяти

двух номеров журнала смешные картинки. Я с трудом отрываюсь от толстой книги, чтобы поужинать, и долго отказываюсь идти спать. И вот, проехав в карете около ста верст, мы попали, наконец, в мой родной, счастливый и несчастный город.

24 августа

Майкоп был основан лет за сорок до нашего приезда. Майкоп на одном из горских наречий значит: много масла, на другом – голова барыни, а кроме того, согласно преданиям, был окопан в мае – откуда будто бы и пошло имя Майкоп. Несмотря на свою молодость, город был больше, скажем, Тулы. В нем было пятьдесят тысяч населения. С левой стороны примыкал к городскому саду Пушкинский дом – большое, как мне казалось тогда, красивое кирпичное здание. В одном крыле его помещалась городская библиотека, окна которой выходили в городской сад, а все остальное помещение было занято театром.

27 августа

В доме Родичева⁷³ появились первые книги, которые помню до сих пор, и первые друзья, с которыми – или рядом с которыми – я прожил до наших дней. Книги эти были сказки, в издании Ступина. Сильное впечатление произвели обручи,

⁷³ Родичев – домовладелец, у которого Шварцы сняли первую квартиру в Майкопе.

которыми сковал свою грудь верный слуга принца, превращенного в лягушку, боясь, что иначе сердце его разорвется с горя. Это было второе сильное поэтическое впечатление в моей жизни. Первое – слово «приплынь» в сказке об Ивасеньке. И надо сказать, что оба эти впечатления оказались стойкими. Сказку об Ивасеньке я заставлял рассказывать всех нянек, которые, как было уже сказано, менялись у нас еще чаще, чем квартиры. В ступинских изданиях разворот и обложка были цветные. Картинки эти, яркие при покупке книжки, через некоторое время тускнели, становились матовыми. Я скоро нашел способ с этим бороться. Войдя однажды в комнату, мама увидела, что я вылизываю обложку сказки. И она решительно запретила мне продолжать это занятие, хотя я наглядно доказал ей, что картинки снова приобретают блеск, если их как следует полизать.

31 августа

Помню, мама сказала, проглядывая газету: «Женя! Дрейфус опять осужден!⁷⁴» У меня сжалось сердце, и я воскликнул: «Да что ты говоришь?» И тотчас же отец сделал выговор нам обоим: маме за то, что она говорит со мною о вещах, которые я не понимаю, а мне за притворство. А между тем я не притворялся. Я жил одной жизнью с мамой, и раз она сказа-

⁷⁴ Дрейфус Альфред (1859–1935) – офицер французского Генерального штаба, обвиненный в 1894 г. в шпионаже в пользу Германии. В 1899 г. был помилован, в 1906 г. реабилитирован.

ла о Дрейфусе с горечью, значит, и у меня сжалось сердце, которое, как я тогда полагал, помещается на месте солнечного сплетения. Во всяком случае, все горести и радости я ощущал именно этим местом.

1 сентября

Перехожу теперь к дому, который стал для меня впоследствии не менее близким, чем родной, и в котором я гостил месяцами. До наших дней сохранилась близкая связь с этим домом. Это дом доктора Василия Федоровича Соловьева.⁷⁵ Этот дом стоял на углу недалеко от армянской церкви, которая еще только строилась в те дни. Был он кирпичный, нештукатуренный. К нему примыкал большой сад, двор со службами. Направо от кирпичного дома стоял белый флигель. Здесь Василий Федорович принимал больных. На площади вечно, как на базаре, толпились возы с распряженными конями. На возах лежали больные, приехавшие из станиц на прием к Василию Федоровичу. Он был доктор, известный на весь Майкопский отдел. Практика у него была огромная. Отлично помню первое мое знакомство с Соловьевыми. Мы пришли туда с мамой. Сначала познакомились с Верой Константиновной,⁷⁶ беспокойное, строгое лицо которой смути-

⁷⁵ Соловьев Василий Федорович (1863–1952) – врач, член социал-демократической группы в Майкопе. Режиссер и участник спектаклей любительской драматической труппы Пушкинского народного дома.

⁷⁶ Соловьева Вера Константиновна (1869–1964) – жена В. Ф. Соловьева.

ло меня. Я почувствовал человека нервного и вспыльчивого по неуловимому сходству с моим отцом. Сходство было не в чертах лица, а в его выражении. Познакомили меня с девочками. Наташа – годом старше меня, Леля – моя ровесница, и Варя – двумя годами моложе. Девочки мне понравились. Мы побежали по саду, поглядели конюшню, запах которой мне показался отличным, и нас позвали в дом. Мама собиралась уходить, а Вера Константиновна с девочками провожать нас. Когда Наташа стала надевать свою шляпку, выяснилось, что резинка на ней оборвана. Вера Константиновна стала чернее тучи. «Почему ты не сказала мне, что оборвала резинку?» – «Я не обрывала». – «Не лги!» Разговор стал принимать грозный характер. Я отлично понимал, по себе понимал, куда он ведет. И, страстно желая во что бы то ни стало отвести неизбежную грозу, я сказал неожиданно для себя: «Это я оборвал резинку». Тотчас же темные глаза Веры Константиновны уставились на меня, но уже не гневно, а удивленно и мягко. Меня подвергли допросу, но я стоял на своем. Вскоре мы шли по улице, дети впереди, а старшие позади. Я слышал, как старшие обсуждали вполголоса мой поступок, но ни малейшей гордости не испытывал. Почему? Не знаю. Мы зашли в пекарню Окумышева, турка с огромной семьей, члены которой жили по очереди то в Майкопе, то в Константинополе. Там угостили нас пирожными, и мы простились с новыми знакомыми. Вечером мама еще раз допросила меня, но я твердо стоял на своем. Засыпая, я слышал,

как мама с грустью сообщила отцу, что, очевидно, резинку и на самом деле оборвал я. Но и тут я ни в чем не признался. Теперь несколько слов о моем отце. Он был человек сильный и простой. В то время ему было примерно двадцать семь лет. Он скоро оставил должность городского врача и стал работать хирургом в городской больнице. Продолжал он и свою политическую работу, о которой узнал я много позже. У них была заведена даже подпольная типография, которую потом искал старательно майкопский испарт, да так и не нашел. Было предположение, что мать некоего Травинского (кажется), в сарае которых зарыли типографию, вырыла ее да и выбросила по частям в Белую. Участвовал отец и в любительских спектаклях. Играл на скрипке. Пел. Рослый, стройный, красивый человек, он нравился женщинам и любил бывать на людях. Мать была много талантливее и по-русски сложнее и замкнутее... Боюсь, что для простого и блестящего отца моего наш дом, сложный и невеселый, был тесен и тяжел. Думаю, что он любил нас, но и раздражали мы его ужасно.

2 сентября

Отец спит после обеда. Мы с мамой рассматриваем книжку, присланную в подарок бабушкой Бальбиной Григорьевной, екатеринодарской бабушкой. Это большого формата книжка с цветными картинками, в картонном переплете... Текста в книжке не было. Были изображения зверей с подписями. «А вот зебра, – говорит мама. – Или нет, это ослик». –

«А какая бывает зебра?» – спрашиваю я. «Полосатая». – «А что значит полосатая?» – «Помнишь кофточку, что была на Беатрисе Яковлевне? Вот она и была полосатая. А вот лев, царь зверей». Пока мы беседовали, стол накрыли к вечернему чаю, подали самовар, и отец вышел из своего кабинета. Он был мрачен. Я сказал: «Вышел Лев, царь зверей». Отца звали Лев Борисович, что и было причиной злосчастного моего замечания. Я не успел после этих слов и глазом мигнуть, как взлетел в воздух. Отец схватил меня и отшлепал. С тех пор прошло примерно сорок девять лет, но я помню ужас от несоответствия мирных, даже ласковых, даже почтительных моих слов с последующим наказанием. Прощай, мирный вечер! Я рыдал, родители ссорились, самовар остывал. Неуютно, неблагополучно! У отца был особый прием наказывать меня. Он брал меня к себе под левую руку, а правой шлепал по заду. Это было не очень больно, но страшно и оскорбительно. Называлось это – взять под мышку. Мама так и говорила: «Смотри, попадешь к папе под мышку!» Однажды, проснувшись ночью, я услышал, что мама плачет, а папа кричит, сердится. Я заплакал. Мама сказала отцу: «Перестань, ты пугаешь ребенка». На что отец безжалостно ударил кулаком по голове самого себя и еще раз, и еще раз и сказал что-то вроде того, что, мол, гляди, до чего довели твоего отца. Если он бил самого себя, – значит, доходил до последнего градуса ярости. И это случалось много чаще, чем он шлепал меня.

3 сентября

Я могу припомнить только два-три случая за все мое детство взлета высоко в воздух, отцу под мышку. Вероятно, самая редкость наказания сделала его столь памятным во всех подробностях. В те времена отец страдал сильнейшими приступами мигрени. Вот он идет в кабинет, зажмурившись, побелев, говорит нам: «Опять флажки, флажки», – так называл он мелькания в левом глазу. Он, как вся их семья, был очень нервен, но вместе с тем, как я уже сказал, прост, прост по-мужски, как сильный человек. Так же сильно и просто он сердился, а мы тяжело обижались, надолго запоминали его проступки перед семьей. Его любили больные, товарищи по работе, о вспыльчивости его рассказывали в городе целые легенды, рассказывали добродушно, смеясь. Любила его, конечно, в те времена и мама, но, неуступчивая, самолюбивая, замкнутая, тем сильнее обижалась и не шла на замены и упрощения. А я испытывал в присутствии отца, которого понял и оценил через десятки лет, – только ужас и растерянность, особенно когда он был хоть сколько-нибудь раздражен. А в те времена, повторяю, это случалось слишком часто. К сожалению, у нас начинала образовываться семья, которая не помогала, а мешала жить. И теперь, когда я вспоминаю первые месяцы майкопской нашей жизни, то жалею и отца, и мать. Вот он ходит взад и вперед по большой зале родичевского дома, играет на скрипке. Бородатая

его голова упрямо упирается в инструмент, рука с искаленным пальцем легко держит смычок. Я слушаю, слушаю, и мне не нравится его музыка. Я не хочу, чтобы он перестал, мне не скучно слушать скрипку, но это его, папина, музыка, и она враждебна мне, как все, что исходит от него. А отец все бродит и бродит по залу, как по клетке, и играет. Чаще всего играл он presto Крейцеровой сонаты.

10 сентября

Когда-то, учась писать на машинке, я стал разбирать и соображать, почему все классики наши, по очереди, ссорились с Тургеневым. И пришел к заключению, что они все возмущались тем, что Тургенев – литератор и только. Сейчас вышел 60-й том полного собрания сочинений Толстого, и я купил его. Это юбилейное издание – самое полное, я жалею, что не подписался на него вовремя. В письме к Боткину⁷⁷ (прекрасном письме) я прочел следующее: «Слава богу, я не послушал Тургенева, который доказывал мне, что литератор должен быть только литератор» (21 октября 1857).

14 сентября

Книги. В это время я читал уже хорошо. Как и когда научился я читать, вспомнить не могу. Еще в Ахтырях я знал буквы. Кое-какие сказки ступинских изданий я не то знал наизусть, не то умел читать. Толстые книги мама читала мне

⁷⁷ Боткин Василий Петрович (1811–1869) – писатель, критик, переводчик.

вслух, и вот в жизнь мою вошла на долгое время, месяца на три-четыре, как я теперь соображаю, книга «Принц и нищий». Сначала она была прочитана мне, а потом и прочтена мною. Сначала по кусочкам, затем вся целиком, много раз подряд. Сатирическая сторона романа мною не была понята. Дворцовый этикет очаровал меня. Одно кресло наше, обитое красным бархатом, казалось мне похожим на трон. Я сидел на нем, подогнув ногу, как Эдуард VI на картинке, и заставлял Владимира Алексеевича становиться передо мною на одно колено. Он, обходя мой приказ, садился перед тронном на корточки и утверждал, что это все равно. Среди интересов, которыми я жил, чтение заняло уже некоторое место.

24 сентября

И вот однажды – (было это летом 1902 года? Вероятно, так. Возможно, что годом позже, но вряд ли) – я увидел семью Крачковских.⁷⁸ Это событие произошло в поле, между городским садом и больницей. Перейдя калитку со ступеньками, мы прошли чуть вправо и уселись в траве, на лужайке. Недалеко от нас возле детской колясочки увидели мы хуленькую даму в черном с исплаканным лицом. В детской коляске сидела большая девочка, лет двух. А недалеко собирала цветы ее четырехлетняя сестра такой красоты, что я за-

⁷⁸ Крачковские: Варвара Михайловна – мать А. П. и Л. П. Крачковских. Александра Поликарповна (Гоня) – сестра Л. П. Крачковской. Людмила Поликарповна (Милочка) (1897–1986) – первая детски-юношеская любовь Шварца (впоследствии известный селекционер).

метил это еще до того, как мама, грустно и задумчиво качая головой, сказала: «Подумать только, что за красавица». Вьющиеся волосы ее сияли, как нимб, глаза, большие, серо-голубые, глядели строго – вот какой увидел я впервые Милочку Крачковскую, сыгравшую столь непомерно огромную роль в моей жизни. Мама познакомилась с печальной дамой. Слушая разговор старших, я узнал, что девочку в коляске зовут Гоня, что у нее детский паралич, что у Варвары Михайловны – так звали печальную даму – есть еще два мальчика, Вася и Туся, а муж был учителем в реальном училище и недавно умер. Послушав старших, я пошел с Милочкой, молчаливой, но доброжелательной, собирать цветы. Я тогда еще не умел влюбляться, но Милочка мне понравилась и запомнилась, тем более что даже мама похвалила ее. Хватит ли у меня храбрости рассказать, как сильно я любил эту девочку, когда пришло время?

27 сентября

Сейчас мне придется говорить о резком переломе в моей жизни. Чтобы он стал вполне ясен, поговорю еще обо мне и маме. Я был вторым сыном. Первый умер шести месяцев от детской холеры. Мать впервые поддалась на уговоры отца и вышла пройтись, подышать свежим воздухом, оставив Борю (так звали моего старшего брата) на руках у няньки. Дело было летом. Нянька напоила мальчика квасом – и все было кончено. Мать всю жизнь не могла этого забыть. Меня она

не оставляла ни на минуту. Вероятно, поэтому я не помню своих нянек. Вся моя жизнь была полна ею. Помню, с какой страстной заботливостью относилась она ко всему, что касалось меня, как чувствовала, думала вместе со мною, завоевав мое доверие полностью. Я знал, что мама всегда поймет меня, что я у нее всегда на первом месте. Заботливость обо мне доходила у мамы до болезненности. Она сама рассказывала мне, когда я был уже взрослым человеком, что когда в те давние времена я съедал меньше, чем положено, то она мучилась, не могла уснуть. «Довольно тебе его пичкать!» – кричал отец, когда я, плача, отказывался от яиц всмятку, ненависть к которым, приобретенную в те ранние дни, я сохранил на всю жизнь. Угадывала мама мои мысли удивительно. Я ничего не скрывал от нее, но далеко не все умел высказать. И тут она приходила мне на помощь. И вот однажды я проснулся не у мамы в спальне, а в папином кабинете. И услышал крик, который показался мне знакомым. «Мама, мама! – позвал я. – У нас кричит дикая цесарка». На мой зов появился папа. Он был бледен, но добр и весел. Посмеивался. Он сказал: «Одевайся скорее и идем. У тебя родился маленький брат». Так кончилось первое, самое раннее мое детство. Так началась новая, очень сложная жизнь.

28 сентября

«Одевайся скорее и идем», – сказал отец, и я, как часто случалось это со мною и в дальнейшем, не понимая, что с

этого мгновения моя жизнь переломилась, весело побежал навстречу неведомому будущему. Мама лежала на кровати. Рядом сидела учительница музыки и акушерка Мария Гавриловна Петрожицкая, которая массировала ей живот. И тут же на маминой кровати лежал красный, почти безносый, как показалось мне, крошечный спеленутый ребенок. Это и был мой брат, которого на этих днях встретил я на Невском и со страхом почувствовал, как он утомлен, как постарел, как озабочен. Тогда же, сорок восемь лет назад, он показался мне до отвратительности молодым. Вот он сильно сморщил лоб. Вот открыл рот, и я услышал тот самый крик, который приписал дикой цесарке. И мама ласково стала уговаривать нового сына своего, чтобы он перестал плакать. Несколько дней я был рад и счастлив тому, что в нашем доме произошло такое событие. Помню, как мама, улыбаясь, рассказывала кому-то: «Женя побежал к Рединым, позвонил в парадное. Его спросили: „Кто там?“. А он закричал: „Открывайте поскорее, новый Шварц родился“. Однако этот новый Шварц заполнил весь дом, и я постепенно стал ощущать, что дело-то получается неладное. Мама со всей шелковской, материнской, бесконечной и безумной любовью принялась растить младшего сына. На первых порах он не одному мне казался некрасивым, что мучило бедную маму. Она все надеялась, что люди заметят вместе с нею, как Валя хорош. Доктор Штейнберг жаловался, что видел во сне, как мама бегала за ним с Валея на руках и спрашивала: „Правда ведь, он

хорошенький?“ Каждая болезнь брата приводила ее в отчаянье. Было совершенно законно и естественно, что с 6 сентября старого стиля 1902 года мама большую часть своего сердца отдала более беспомощному и маленькому из своих сыновей. Но мне в мои неполные шесть лет понять это было непосильно. Я все приглядывался, все удивлялся и наконец вознегодовал.

29 сентября

И, вознегодовавши, я воскликнул: «Жили-жили – вдруг хлоп! Явился этот...» Эти слова со смехом повторяли и отец и мать много раз. Даже когда я стал совсем взрослым, их вспоминали в семье. Судя по этим словам, я довольно отчетливо понял, что дело в новом Шварце, а не в том, что я стал хуже. Но я так верил взрослым, в особенности матери, что невольное раздражение, с которым иногда она теперь говорила со мною, я стал приписывать своим личным качествам. Если мама говорила худо о наших знакомых, то они, как я неоднократно писал, делались в моих глазах как бы уцененными, бракованными, тускнели. И ни разу я не усомнился в справедливости маминых приговоров. Не усомнился я в них и тогда, когда коснулись они меня самого. Однажды я сидел за калиткой, на земле. Был ясный осенний день. Гимназистки, взрослые уже девушки, шли после уроков домой. Увидев меня, одна из них сказала: «Смотрите, какой хорошенький мальчик! Я бы его нарисовала». Я было обрадовался – и тот-

час же вспомнил, что девушка говорит обо мне так ласково только потому, что не знает, какой я теперь неважный человек. И с грубостью, бессмысленной и удивлявшей меня самого, но все чаще и чаще просыпавшейся во мне в те дни, я крикнул вслед девушкам: «Дуры!» По старой привычке я побежал и рассказал все маме, и она побранила меня. Но я не мог объяснить ей, почему я выругал бедных гимназисток. Я, до сих пор окруженный, как футляром, маминой любовью и заботой, стал чувствовать неясно и бессознательно пустоту, страх одиночества и холод. В те дни стали определяться душевные свойства, которые сохранил я до сих пор. Неуверенность в себе и страх одиночества. К этому следует прибавить вытекающее отсюда желание нравиться. Мне страстно хотелось, чтобы я стал нравиться маме, как и в те дни, когда еще не явился «этот». Я всеми силами старался вернуть потерянный рай и, чувствуя, что это не удастся бессмысленно грубил, бунтовал и суетился.

2 октября

Я стал много читать. Пустота, образовавшаяся вокруг меня, требовала заполнения. Я не мог, не научился жить один, и если не было книжек, то очень скучал. Очевидно, в течение всей зимы шел во мне какой-то процесс, требовавший много сил и не осознанный мною. Поэтому я не помню ни внешних событий, ни внутренних. В этот период моей жизни боязнь темноты усилилась. Темнота населилась живыми

существами, крайне страшными.

3 октября

Переходный возраст переживаешь не только в тринадцать-четырнадцать лет, но и раньше и позже. Несомненно, что возраст между шестью и семью годами критический, причем у меня этот кризис совпал с рождением брата и отдалением мамы. Сильно развились чувства страха одиночества, мистического страха, ревности, любви; вспыхнуло воображение, а разум отстал, несмотря на чтение запойное и беспорядочное.

...На 1903 год мне выписали журнал «Светлячок», издаваемый Федоровым-Давыдовым. Он меня не слишком обрадовал. Был он тоненький. От номера до номера проходило невыносимо много времени, неделя в те времена казалась бесконечной. А кроме всего я жил сложно, а журнал был прост.

5 октября

Попробую рассказать, как я играю в столовой вечером, один. Нянька с Вале́й, мама ушла куда-то в гости. Я надеюсь, что она вернется, пока я еще не лег спать. Керосиновая лампа освещает только стол. По углам полумрак. В зале – полная тьма. В спальне горит ночничок. Очень тихо, но для меня полной тишины не существует. Оттого что я болею малярией и принимаю дважды в день пилюли с хиной, у меня

звенит в ушах. И в этом звоне я могу, если захочу (это похоже на те зрительные представления, которые я вызываю, закрыв глаза), услышать голоса. Вот кто-то зовет беззвучно, не громче, чем звенит в ушах, растягивая, растягивая: «Же-е-е-еня!» Темнота, как я открыл недавно, не менее сложна, чем тишина. Она состоит из множества мурашек, которые мерцают, мерцают, движутся. Если в темноте быстро поведешь глазами, то иногда видишь красную искру. Все эти свойства темноты и тишины я ощущаю непрерывно вокруг себя. Тревожит меня дверь в зал. Сядешь к ней лицом – видишь мрак, сядешь спиной – чувствуешь его за плечами. Но освещенный стол отвлекает и утешает меня. Сейчас стол похож на площадь. Дома вокруг площади сделаны из табачных коробок и коробок из-под гильз. Добриков уже не живет у нас, но я прорезаю окна в домах по его способу. По его же вырезаю я из бумаги сани с полозьями и лошадь к ним, похожую на собаку. Коробки стоят на боку. Крышки подняты и поддерживаются кеглями, как навесы. В домах живут. Пастух из игры «Скотный двор» стоит под навесом на подставке зеленого цвета с цветочками, как бы на траве, что не совсем идет к данному случаю. В другом живет заводной мороженщик с лопнувшей пружиной. Сундук его давно отломился. В третьем живет деревянный дровосек.

8 октября

Приходится с зимой, первой майкопской зимой, расстать-

ся. Больше ничего я не могу вспомнить о ней. Разве только романс, который пел отец. Начинался он словами: «Я ласточку видел с разбитым крылом»⁷⁹. Продолжения я не слышал ни разу. Музыка и слова так потрясали меня, что я, заткнув уши, бросался бежать куда глаза глядят.

12 октября

Улица Плеханова. Барклай-де-Толли.⁸⁰ От погоды и тоски мне памятник кажется безобразным. Слишком много тут отяжелевшего, пожилого человека. Никакая бронза, никакой постамент не сделают живот, затянутый в мундир, торжественным. Вот отчего так охотно ставят вместо фигуры в рост – бюсты или аллегорические нагие группы в драпировках, а не в штанах и сапогах.

14 октября

Итак, летом 1903 года мы поехали в Жиздру. Путь в Жиздру лежал через Москву. И я, наконец, увидел город, о котором столько слышал чуть ли не с первых дней своей сознательной жизни. Должен признать, что воспринимал в те годы все новое с одинаковой жадностью, как и подобает щенку. Частности заслоняли главное, смотреть я не научился.

⁷⁹ Романс А. Г. Рубинштейна «Разбитое сердце» на слова В. А. Крылова. В тексте романса: «Я бабочку видел с разбитым крылом».

⁸⁰ Памятник М. Б. Барклаю-де-Толли установлен на Невском проспекте у Казанского собора (угол улицы Плеханова). Бронзовая фигура полководца отлита по модели скульптора Б. И. Орловского.

Через Москву мы поехали на извозчике, переполненном до крайности. Во всяком случае, я сидел у мамы в ногах, поперек пролетки, свои ноги расположив на приступочке. Извозчик крестился у церквей, и, едва он снимал свою твердую плоскую шляпу с загнутыми полями, я тоже снимал картуз и с наслаждением крестился вслед за ним. В Майкопе я чувствовал, что мои отношения с небом несколько запутались и затуманились. Это меня мучило, особенно вечерами, когда мамы не было дома. Здесь дело обстояло проще, как и всегда, когда мы попадали к маминым родным. И я крестился себе вслед за извозчиком и с наслаждением чувствовал, что я такой же, как все. Пролетка тряслась и тряслась по булыжной мостовой, но вот мама оживилась: «Гляди, гляди, Кремль!» И мы поехали по такой же булыжной мостовой через Кремль. «Вон дворец!» Я поглядел на дворец, и он поразил меня количеством печных труб на крыше. Почему я заметил и запомнил только трубы? Не понимаю. Студентом уже я старался найти то место, откуда увидел крышу дворца, – и не мог. Потом мама показала мне царь-пушку, царь-колокол, окружной суд. Проезжая через Спасские ворота, мы с извозчиком сняли шляпы и перекрестились.

19 октября

Все, все в Жиздре шло не по-майкопски. Даже хлеб был совсем не такой, как в Майкопе. В Майкопе хлеб был белый, пшеничный, ржаного не продавали ни в булочной Окумы-

шева, ни на базаре. Маме, скучавшей по своему рязанскому, северному хлебу, покупали его, при случае, в казармах у солдат. Им полагался по их солдатскому рациону непременно хлеб черный. А в Жиздре белый хлеб носил незнакомое мне имя ситного, а черный звался просто хлеб. Пекли его дома. Яблоки в саду рвать не разрешалось, хотя многие сорта и поспели. Ждали спаса. Можно было собирать только яблоки упавшие. Это привело к игре – кто первый найдет яблоко в траве. Вот мы сидим, обедаем. Вдруг – казавшийся мне значительным, ясно слышимый в тихий летний день – звук яблока, стукнувшегося о землю. Несмотря на протесты и окрики старших, я, Ваня, Лида⁸¹ вскакиваем из-за стола и мчимся на поиски. Вид яблока, лежащего в траве под деревом, до сих пор особым образом радует меня. Вскоре в этой игре приняли участие и старшие. Помню, как мама, с их шелковской настойчивостью, изводила полдня Зину⁸², показывая в лицах, как та стоит над самым яблоком и не видит его, а яблоко мигает маме: «Вот, мол, я, хватай, бери!»

6 ноября

И вот уехали мы из Жиздры в Майкоп. Не удалось мне передать ощущение новой жизни, очень русской рядом с майкопской, окраинной, украинской, казачьей. Мы в последний раз в жизни повидали бабушку, в последний раз в жизни по-

⁸¹ Проходцовы – двоюродные брат и сестра Е.Л. Шварца.

⁸² Шелкова Зинаида Федоровна – тетка Е.Л. Шварца.

грузился я в особую атмосферу шелковской семьи, и веселую, и насмешливую, и печальную, с предчувствиями, приметами, недоверием к счастью, и беспечную, и дружную, и обидчивую...

9 ноября

Предыдущую тетрадь я вел три года, а эту – три месяца. Отчаянно стараюсь плыть, бьюсь с ужасным безразличием, в которое впадал от времени до времени всю жизнь, отчаянно стараюсь научиться писать по-новому. Пьеса за это время плыла медленно-медленно. Прежде я оставил бы второй акт таким, как вышел он у меня сначала. А теперь переписываю его в четвертый раз. Пробовал, чтобы овладеть прозой, вспоминать детство. В дальнейшем попробую делать так: кратко рассказывать о ходе событий детства, а потом подробно описывать день или случай, определяющий данный период. До сих пор для упражнений в правдивости я записывал все, что вспомнил, не пропуская ничего. Когда доведу рассказ до поступления в реальное училище, попробую переписать на машинке все сначала. Привести в порядок. Сейчас главная моя беда в однообразии языка, что вызвано трусостью, ужасом перед штампами. Между тем есть штампы и штампы. Одни – мертвы. (Например: «Было тихо, слышалось только то-то и то-то, да где-то далеко это да это».) А другие штампы подобны формулам, которые только помогают. Сказать: «В этих домишках ютились» – для меня целое дело. Слово это

литературно и не свойственно мне в разговоре. А оно вовсе не обедняет, а обогащает язык. Написать: «Сальери, мрачную легенду о котором обессмертил Пушкин» – я никогда не посмею. Но и в этой элоквенции⁸³ есть свое приличие.

16 ноября

Итак, мы вернулись в Майкоп, и началась новая зима 903/904 года. Осенью исполнилось мне семь лет. Я пережил новое увлечение – мама рассказала, как была она в Третьяковской галерее. И это почему-то поразило меня. «Картинная галерея» – эти слова теперь повергали меня в такой же священный трепет, как недавно «нарты», «ездовые собаки», «северные олени». Я оклеил все стены детской приложениями к «Светлячку».

17 ноября

Я стал гораздо самостоятельнее. Я один ходил в библиотеку – вот тут и началась моя долгая, до сих пор не умершая любовь к правому крылу Пушкинского дома. До сих пор я вижу во сне, что меняю книжку, стоя у перил перед столом библиотекарки, за которым высятся ряды книжных полок. Помню и первые две фамилии каталога: Абу Эдмонд. «Нос некоего нотариуса». Амичис Эдмонд. «Экипаж для всех». Меня удивляло, что в каталоге знакомые фамилии писателей переименовывались. Например, Жюль Верн назывался

⁸³ Красноречие (лат.).

Верн Жюль. Левее стола библиотекарши, у прохода в читальню, стоял другой стол, с журналами. Но в те годы читальный зал я не посещал. Я передавал библиотекарше прочитанную книгу и красную абонементную книжку, она отмечала день, в который я книгу возвращаю, и часто выговаривала мне за то, что читаю слишком быстро. Затем я сообщал ей, какую книжку хочу взять, или она сама уходила в глубь библиотеки, начинала искать подходящую для меня книгу. Это был захватывающий миг. Какую книгу вынесет и даст мне Маргарита Ефимовна? Я ненавидел тоненькие книги и обожал толстые. Но спорить с библиотекаршей не приходилось.

26 ноября

...Весной 904 года мы поехали в Одессу. Поездка эта сыграла в моей жизни не меньшую роль, чем поездка в Жиздру. С Жиздрой связана любовь к церкви, колокольному звону, садам, сосновому бору. А в Одессе я полюбил корабли, лодки, порт, запах смолы и научился мечтать.

27 ноября

Итак, мы поехали в Одессу. Отношения между отцом и матерью все усложнялись, майкопская жизнь не удавалась. Мать решила, что зависеть материально от отца унижительно. Работать по специальности – акушеркой – она не могла. Это отнимало бы у нее слишком много времени. И вот, прочтя объявление о краткосрочных курсах массажа, кото-

рые были основаны каким-то доктором в Одессе, мама решила ехать туда учиться. Делать массаж она могла и дома, не оставляя нас, не поступая на службу.

Папа провожал нас. Ехали мы с няней, молодой девушкой. Звали няню – Оля. Она долго не решалась ехать так далеко. Приходила ее мать. Помню, как папа, уговаривая Олю, несколько раз повторил: «Увидишь море, большой город – когда тебе еще придется съездить так интересно!» И Оля согласилась наконец, и мы отправились в путь. Снова фургон, и отвратительный запах сена, и припадки морской болезни на суше, на страшных черноземных кубанских дорогах. Затем праздник и счастье – железная дорога. Сначала мы заехали в Екатеринодар – и тут я ничего не узнал, ничего не вспомнил. Ведь я не был там с весны 1902 года. Целый век! Приехали мы утром, вошли в просторную столовую дедушкиного дома и увидели бабушку, которая, приветливо улыбаясь, живо и быстро двигалась к нам навстречу из-за большого овального стола. И столовая, и стол, и стулья со спинками, и самовар на столе – все было большое, гораздо крупнее, чем у нас дома, а бабушка Бальбина показалась мне маленькой, как и русская моя бабушка на вокзале в Жиздре. Гораздо меньше, чем она вспоминалась. Увидел я скоро Исаака, старшего моего дядю, перед которым испытывал непобедимую робость. Ни деда, ни бабки я не боялся, а он ужасно смутил меня. Увидел худого и мрачного дядю Самсона – актера. Увидел Тоню,⁸⁴ но

⁸⁴ Шварц Антон Исаакович (1896–1954) – мастер художественного слова, дво-

все это наскоро, впопыхах, как в тумане. Исаак заметил, с какой жадностью я читаю «Рейнеке-Лиса» в издании «Золотой библиотеки», и сказал: «Возьми эту книжку себе». Я ответил растерянно: «Если бы она была моя, то я ее взял бы, а она Тонина». – «Ну вот, теперь она и будет твоя! – сказал Исаак мрачно. – Бери!»

29 ноября

Ездил в город, отвозил Кошеверовой либретто сценария, который я назвал в память о последнем моем юношеском путешествии в горы «Неробкий десяток». Так назвал нашу компанию Юрка Соколов... Хоть кусочек поэтического, богатейшего опыта тех дней перенести бы в сценарий. Когда-то в «Клад»⁸⁵ я перенес частицу горных своих ощущений.

6 декабря

Улицы в Одессе были такие оживленные, что мне все чудилась впереди толпа, которая смотрит на «происшествие». Этот отдел я читал в газете и мечтал своими глазами увидеть пожар, столкновение конки с извозчиком, поимку известного вора или нечто подобное. Но, увы, толпа впереди вечно оказывалась, когда мы к ней приближались, кажущейся. Просто те же прохожие сливались вдали в одно целое. Вот

юродный брат Е. Л. Шварца.

⁸⁵ Пьеса «Клад» написана Шварцем в 1933 г. Действие происходит в горах, где школьники помогают взрослым найти заброшенные медные рудники.

как мне трудно выразить самые простые вещи. В фургонах развозили искусственный лед – таскали его куда-то белыми длинными брусками. Лошади в Одессе носили шляпы с прорезами для ушей. Для собак были устроены под деревьями железные корытца с водой. Веселые, оживленные одесские улицы, деревья, коричневая мостовая на Дерибасовской, которую я с маминых слов считал шоколадной и все боялся спросить – не пошутила ли она, и свет, свет, солнце, жара, которая только веселила меня. И фруктовые лавочки, то в подвалах, то в ларьках, сначала с черешнями, которые мама, к моему удивлению, считала безвкусными, а потом с вишнями, которые я, к маминому удивлению, считал кислыми, и, наконец, с яблоками, грушами, дынями, арбузами.

7 декабря

И за садом в конце нашей улицы, и за Приморским бульваром внизу кипела морская, портовая, пароходная, канатная, лодочная, пахнувшая смолой, бесконечно для меня привлекательная жизнь. Любовь, но не к морю, а к приморской жизни – вот сильное и новое чувство, вспыхнувшее в Одессе и отодвинувшее мою страсть к картинным галереям далеко назад. Это чувство не проходило много лет, усилилось, когда мы уехали из Одессы, и в сущности не умерло и до сих пор.

9 декабря

На Приморском бульваре, левее лестницы в кафе, играл

румынский оркестр. Сейчас мне кажется, что оркестранты были одеты в полосатые костюмы. Визг румынских скрипок вызывал у меня чувство неловкости. Оркестр под управлением Рабиновича нравился мне гораздо больше. Вспомнил вдруг, как однажды в Майкопе я пробрался в музыкантскую раковину, когда там играл вышеупомянутый оркестр. Я стоял сначала у двери, в которую входят музыканты, и дирижировал воздушным шариком. Но звуки музыки опьянили меня, я перешагнул через порог, все дирижируя и наслаждаясь. И вдруг старик с седой бородой и в серебряных очках, не отрывая губ от трубы, сделал страшные глаза и топнул на меня ногой. Я вылетел из раковины пулей. Это было года за два до поездки в Одессу. Итак, румын я не любил. Но вечером в нашем дворе с круглым сквериком слышался рояль.

10 декабря

Вечер начинался у нас очень рано, часов в шесть. Мы возвращались домой, закончив на сегодня все прогулки. Мама сидела над своими записями, училась, Валя играл с нянькой, а я скучал, мечтал, томился. Играть мне было не с кем. «Рейнеке-Лис» в издании «Золотой библиотеки» был зачитан и перечитан чуть не наизусть. Мама просила у хозяек книжек для меня, но у них нашлись только немецкие. Я бесконечно ссорился с Ольгой, безобразно грубил ей, дразнил брата, но и это не занимало меня полностью. Тогда, взяв круглую слоеную булку, я выходил во двор, садился на ступеньках вы-

сокого крыльца, глядел и слушал. Уже начинало темнеть. И непременно за открытыми окнами кто-нибудь играл на рояле. Иногда просто гаммы. Но музыка эта вместе с затихающим шумом улицы и стуком копыт по мостовой неизменно погружала меня в мечты. Часто мне представлялось следующее: вдруг всем на свете делалось по семь лет. Мое одесское вечернее одиночество тем самым обрывалось счастливейшим образом. То из одной, то из другой квартиры выбегали ее хозяева и предлагали, как это было принято на бульваре или в садике под парпетом: «Мальчик, хотите играть в золотые ворота?», «Мальчик, пойдемте играть в разбойники». В одной из квартир виднелись против окна большие шкафы с книжками, которые в мечтах моих все сплошь оказывались детскими...

11 декабря

Однажды мы сидели на Приморском бульваре. Мама просматривала газету. И вдруг она воскликнула: «Женя! Какое несчастье – Чехов умер!» У меня сжалось сердце, и я, как было принято у нас в семье, когда сообщались неприятные новости, ответил: «Да что ты говоришь...» Для меня уже и в те годы имя Чехова было столь же знакомо, как имя Художественного театра, связывалось с Москвой, с чем-то несомненно прекрасным и всеми людьми признанным. Это была та самая слава, о которой думал с грустью дедушка крапивный, глядя на своих детей, не добившихся ничего. Велико-

лепная, таинственная слава!

12 декабря

Я становился все более одесситом, как недавно майкопцем – в Майкопе и рязанским мальчиком – в Рязани. Убедился я в этом однажды в Пале-Рояле. Ко мне подбежал добродушный бледный мальчик в синем костюмчике и позвал играть в разбойники. Обсуждая с ним условия игры, я сказал вместо «мне» – «мине», что после двух месяцев проживания в Одессе казалось более правильным. Но мой новый знакомый вдруг взглянул на меня со страхом и заявил: «Мама не позволяет нам играть с детьми, которые говорят „мине“». И он убежал. Я бросился к своей маме за разъяснениями и узнал, что она сама давно хотела побеседовать со мною, что я совсем разучился говорить по-русски, что я не обезьяна, а большой мальчик и не должен подражать уличным мальчишкам. Надо сознаться, что неведомо откуда, но во мне прочно сидело в те времена начисто исчезнувшее, когда я стал старше, ощущение, что мы благородные. Если мама пробовала выйти со мною на улицу в платке – я отказывался, плакал и кричал: «Ты как простая». И в страхе, с каким на меня взглянул добрый бледный мальчик в синем костюмчике, я угадал то же чувство. Я говорил, как простой! Ай-ай-ай! Я стал следить за своим языком, щедро уснащать его словами, доказывающими мое благородство.

13 декабря

Когда мама была свободна от курсов, совершали мы более дальние прогулки. Чаще всего ездили мы в Городской (или Приморский?) парк – забыл, как он называется. У ворот этого парка сидела сторожиха с вязаньем в руках. А на спинке стула, стоящего возле нее, сидел попугай, которым я не уставал любоваться. Он умел разговаривать, кричал: «Дурак!» – причем хохолок его вставал дыбом. В парке мы или располагались на траве под деревьями, или сидели в крытой галерее над обрывистым берегом. Отсюда можно было любоваться свободным от портовой суеты морем. Оно растянулось от обрыва до самого горизонта, отвечая основному, как я считал тогда, признаку моря: другого берега видно не было. Мама любовалась морем и призывала меня к тому же, но я, повторяю, любил больше приморскую жизнь, чем море. Как я любил выставленную в одном из магазинных окон модель корабля, как мечтал, что каким-нибудь чудом мне купят ее. Как любовался идущими на горизонте пароходами. Как завидовал рыбакам на шаландах. По дороге в парк мы проходили мимо мореходного училища с флагштоком или мачтой на башне. Я заявил маме, что хочу поступить в это училище. Но она ответила серьезно и строго отказом.

14 декабря

Мама не могла себе представить никакого другого образования, кроме университетского: «Сюда идут только недоуч-

ки», – сказала она, но страсть к морю была у меня настолько сильна, что на этот раз мамины слова не произвели на меня ни малейшего действия. Я по-прежнему смотрел на моряков как на людей особенной, избранной породы, причем в данном случае не делил их на благородных и простых. И офицеры, и матросы, и рыбаки, и грузчики в порту были мною любимы благоговейно. Вот офицер в черной морской форме, с кортиком на боку, прощается с дамами и одну из них целует в ладонь. И мне кажется это прекрасным, приморским.

19 декабря

Бабушку свою я видел тем летом последний раз в жизни, по дороге в Одессу, а с дедушкой подружился и простился на обратном пути. Дед, по воспоминаниям сыновей, молчаливый, сдержанный и суровый, мне, внуку, представлялся мягким и ласковым. Всю жизнь он сам ходил на рынок, вставая чуть ли не на рассвете: Мы с Валеёй ждали его возвращения, сидя на лавочке у ворот. Издали мы узнавали его статную фигуру, длинное, важное лицо с эспаньолкой и бежали ему навстречу. Он улыбался нам приветливо и доставал из большой корзины две сдобные булочки, еще теплые, купленные для нас, внуков. И мы шли домой, весело болтая, к величайшему удивлению и даже умилению всех чад и домочадцев, как я узнал много лет спустя. А в те дни я считал доброту и ласковость дедушки явлением обычным и естественным.

20 декабря

Сашу⁸⁶ я не боялся, хотя он, единственный из трех моих дядюшек, делал мне иногда замечания. В дедушкиной библиотеке нашел я иллюстрированные журналы, переплетенные за год, и читал их, не отрываясь, таская толстые томища за собою даже в сад, в свои барбарисовые беседки. И вот однажды утром Саша обнаружил в кустах открытый том «Нивы», засыпанный листьями, сухими веточками и окропленный росой. Он строго поговорил со мною по этому поводу. Но зато он же взял меня с собою в картинную галерею, которой владел тогда какой-то богатый екатеринодарец. Картинная галерея, музей и библиотека были тогда уже открыты для всех посетителей. Потом владелец завещал ее городу. Страсть моя к картинным галереям ожила. Папа, уже побывавший там, очень хвалил картину «Белая ночь», рассказывая, что там у сов горят глаза, просто удивительно. Настоящим огнем. Долго продолжалось мое ожидание, но вот Саша сжалился надо мною, и мы отправились в путь. Мы вышли на Красную улицу, повернули направо мимо магазинов, белого здания казачьей гимназии, соборной площади и пришли к двухэтажному дому, снаружи такому же, как и другие дома. Внизу была библиотека, в которую мы только заглянули и поднялись по лестнице наверх. Я несколько удивился. Я представлял себе длинные, светлые коридоры, увешанные картинами, перед которыми стоят скульптуры. Нет, галерея

⁸⁶ Шварц Александр Борисович – адвокат, артист-любитель, антрепренер.

Коваленко была совсем другой. Она состояла из нескольких комнат. Картина «Белая ночь» изображала девушку, которая, закрыв глаза и протянув вперед руки, шла по лесу за двумя совами. Глаза у сов действительно горели, но я ждал большего. И все же галерея понравилась мне.

21 декабря

Вскоре я забыл и о музее и о библиотеке. Новое увлечение, сильное, но короткое, овладело мною. Тоня, спокойный, тощенький, светлоглазый, со шварцевскими густыми, шапкой стоящими волосами, значительно более похожий на моего отца, чем я, стал моим лучшим другом на эти недели. В те годы Тоня твердо решил, что он будет купцом. На маленькие дощечки, обычно это были доньшки спичечных коробок, мы навивали цветную бумагу. Это были штуки материи. Мы не торговали ими. Мы, вооружившись крошечными, в масштабе наших мануфактурных товаров, ружьями из серебряной бумаги, вели караваны по жарким странам, везли наши богатства каким-то племенам. Вот эта игра и увлекла меня. Вообще в это время Тоня главенствовал. Он спокойно пользовался языком взрослых, которого после конфуза со словом «очевидно» я боялся. Вот мы идем по улице. Тоня указывает на даму впереди и говорит: «Какая красивая у нее талия!» Я подтверждаю, хотя понятия не имею об этом слове. До самого вечера я считаю, что талия – это такая шляпа с цветами, – именно этим и отличалась, на мой

взгляд, идущая впереди дама от остальных. Но в одной области я был для Тони непререкаемым авторитетом, а именно – в религии. Это время для меня было временем полной, лишенной всяких сомнений веры. Я прочел взятый у Дины Сандель учебник закона божьего, все жиздринские влияния были еще свежи.

22 декабря

Я помнил все: и библейские и евангельские истории из учебников, и бабушкины рассказы, и рассуждения о грехах, о церкви, о рае и аде. Я знал, что грешен, но вместе с тем и надеялся избавиться от всей скверны, как только мне удастся уговорить маму свести меня на исповедь. Я считал, что после семи лет не причастят без исповеди, да так оно, кажется, и было. Так относился к небу я. А мама, напротив, к этому времени ожесточилась, забыла, как молилась в Ахтырях, стоя на коленях перед иконой, и стала неверующей. Но в этом вопросе я не подчинился ей. И чуть не каждый день к вечеру под грецким орехом за кухней вспыхивали ожесточенные споры. С одной стороны мама, а с другой – я и дедушкина кухарка спорили о религии. Я был начитаннее кухарки в этом вопросе, ссылался на учебники, обливался потом, кричал, как настоящий изувер, так что моя сторонница успокаивала меня и сменяла на моем посту. Ее сила была в непоколебимом спокойствии и уверенности. На все мамины антирелигиозные речи она отвечала: «Так-то оно так, а все-

таки бог есть».

24 декабря

Сегодня полгода прошло с тех пор, как я стал писать эти ежедневные упражнения. Начинал я их много раз – примерно с 1926 года. Старые тетради я сжег в начале декабря 1941 года, уезжая из Ленинграда, о чем жалею до сих пор. Я возобновил привычные записи в Кирове. Обычно мне удается вести эти записи в том случае, если я работаю над чем-нибудь, а когда работа останавливается, то я впадаю в состояние преступного, тупого, свинского ничегонеделания. Впрочем, слово «свинское», пожалуй, не соответствует положению вещей. Более мучительного состояния, чем мое ничегонеделание, я не знаю. Правда, бывает и так: я работаю, но упражнений не пишу. С огромным трудом, преодолевая стыд, я справился с той задачей, которую поставил себе в Кирове. Я научился писать о себе, и теперь надо учиться писать о себе интересно и при этом не врать, что вряд ли возможно.

1951 г

4 января

Итак, мы приехали в Майкоп, и начался последний период моего детства. Я уже учился, но еще не попал в мощные лапы школы, еще не вступил в темное средневековье моей жизни, продолжавшееся с приготовительного до четвертого класса. Потом медленно-медленно вступало в свои права возрождение. Хватит ли у меня дыхания рассказать обо всем этом? А пока что мы приехали в Майкоп, и я стал учиться у Валиного крестного – огромного, бородатого Константина Карповича Шапошникова. Он всегда носил черкеску. Постукивая деревянной своей ногой, входил он в комнату с окнами в сад, и урок начинался. Занятия эти давались мне, очевидно, легко. Во всяком случае, ничего нового в мою жизнь они не внесли.

6 января

В октябре 1904 года исполнилось мне восемь лет. Доктор Островский подарил мне книгу Свирского «Рыжик», а папа – «Капитана Гаттераса» Жюль Верна. Обе эти книги надолго стали моими любимыми. Еще подарили мне пистолет, стреляющий палочкой с резиновым присосом, который, щелкнув, прилипал к мишени. Этот день памятен мне острым чувством жалости, о котором расскажу завтра.

7 января

Итак, в день моего рождения испытал я острое чувство жалости, запомнившееся на всю жизнь. Я играл на улице с мальчиками. Среди них были два брата из многочисленного еврейского семейства... Со старшим братом я был в дружеских отношениях, а младшего, семилетнего заморыша, ненавидел. Меня раздражало его бледное лицо, синие губы, голубоватые веки. Казалось, что он долго купался и замерз навсегда. Итак, мы играли на улице, а потом мама позвала нас пить чай. Я старшего еврейского мальчика пригласил с собой, а младшему сказал брезгливо: «А ты ступай вон, не лезь к старшим». Когда мы поднялись наверх, я выглянул в окно и увидел, как внизу на улице, оставшись в полном одиночестве, сгибаясь так, будто у него болит живот, плачет синегубый заморыш. Тут-то и пронзила меня, с неведомой мне до сих пор силой, жалость. Я бросился вниз утешать и звать к себе обиженного, на что он поддался немедленно, без всяких попреков, без признака обиды. Это еще более потрясло меня – вот как, значит, хотелось бедняге пойти к нам в гости. И я за чаем кормил его пирогами и конфетами, а потом давал ему стрелять из пистолета чаще, чем другим гостям. И он принимал все это без улыбки, еще вздыхая иногда прерывисто, медленно приходя в себя после пережитого горя.

8 января

К девочкам Соловьевым Вера Константиновна выписала

откуда-то учительницу, которая старшим не понравилась. Они ее нашли глуповатой. Я помню смутно молодую, незначительную лицом девицу, которая к тому же чуть шепелявила. Тогда это мне казалось несомненным доказательством глуповатости, о которой говорили старшие. Но с ней, с этой учительницей, у меня связано сильное поэтическое переживание, – она прочла нам вслух «Бежин луг». Впервые я был покорен не занимательностью рассказа, а его красотой. Как, влюбившись, я сразу понял, что со мною происходит, так и тут я сразу как бы угадал поэтичность рассказа и отдался ей с восторгом. Я не выслушал, а пережил «Бежин луг». Я ждал того же и на другой день, когда чтения продолжались. Читался какой-то другой рассказ Тургенева, его я и не запомнил. Я слушал чтение с тоской, ненавидел Наташу, восхищавшуюся, как мне казалось, притворно. Она все шептала: «Ах, как красиво!» Я ненавидел Костю, который строил сестрам гримасы, чтобы рассмешить их во время чтения. Я ушел, не дослушав, мама взглянула на меня и все поняла. У меня начался очередной припадок малярии с высокой температурой, угнетенным состоянием духа, с дурнотой. Я пролежал в постели несколько дней. Итак, я учился, бывал у Соловьевых, дружил с Илюшей Шиманом, был влюблен, мечтал и тосковал по приморской, корабельной, одесской жизни, как в свое время по Жиздре. Нет, сильней, потому что умнее я не делался, а чувствительнее становился с каждым днем.

9 января

К этому времени стала развиваться моя замкнутость, очень мало заметная посторонним да и самым близким людям. Я был несдержан, нетерпелив, обидчив, легко плакал, лез в драку, был говорлив. Но самое главное скрывалось за такой стеной, которую я только теперь учусь разрушать. Казалось, что я весь был как на ладони. Да и в самом деле – я высказывал и выбалтывал все, что мог. Но была граница, за которую переступать я не умел. Я успел отдалиться от мамы, которой недавно еще рассказывал все, но никто не занял ее места. Причем скрывал я самые разнообразные чувства и мечты, иногда неизвестно, по каким причинам.

10 января

В тот год я стал еще больше бояться темноты, и при этом по-новому. Темнота теперь населилась существами враждебными и таинственными. Здоровый страх перед разбойниками, ворами – словом, перед врагами-людьми – заменился мистическим.

У Андрея Андреевича Жулковского⁸⁷ был племянник – художник, юноша лет двадцати. Однажды он ушел в горы, на эскизы, и не вернулся. Его искали-искали, да так и не нашли. И мама сказала однажды: «Нет, уж он не вернется. Лежит

⁸⁷ Жулковский Андрей Андреевич (1853–1917) – профессиональный революционер-большевик. Руководитель социал-демократической группы в Майкопе.

где-нибудь в пропасти его скелет». Эти слова меня ушибли надолго. Я все думал и думал об этом, и вот в темноте появился еще один призрак – скелет бедного художника. Его постоянное местопребывание было под моей кроватью.

11 января

Весь ночной, призрачный мир начисто исчезал днем. А жизнь дневная и невыдуманная шла своим чередом. На рождество, когда мы клеили картонажи, я убедился еще в одном своем недостатке. Я знал и уж примирился с тем, что лишен музыкального слуха. А попытка вырезать и клеить картонажи доказала с несомненностью, что я неловкий мальчик. У меня ничего не клеилось в буквальном смысле этого слова. Я обижался неведомо на кого, сердился, плакал – но, увы, это не помогало мне. Я очень любил рисовать – но все утверждали, что я плохо рисую. Почерк у меня, несмотря на старания мои и Константина Карповича, был из рук вон плох. Задачи решал я средне. Скорее плоховато. Когда писал диктовку, то делал одни и те же ошибки: вечно пропускал буквы. Я был неловок, рассеян, но, должен признаться, вспоминая пристально и тщательно то время, в течение дня весел. Дневные обиды я легко забывал, а в сумерки начинал тревожиться. Приближался главный ужас моего детства, вытеснивший на долгое время все остальные страхи: боязнь за жизнь матери. Я писал уже, что в то время предполагалось, будто у мамы порок сердца.

12 января

Страх за маму, тоже глубочайшим образом скрываемый в моем одиночестве, в глубине, был самым сильным чувством того времени. Он никогда не умирал. Бывало, что он засыпал, потому что я жил весело, как положено жить в восемь лет, но выступал, едва я оставался наедине с собой. К этому времени моей жизни отношения с мамой усложнились и испортились до того, что она не приходила прощаться со мною на ночь, кроме тех случаев, когда я был болен. Ссоры наши иногда доходили до полного разрыва. Помню день, приведший к тому, что по маминой жалобе я в последний раз в жизни попал отцу под мышку, то есть взлетел высоко вверх и был отшлепан. Это меня до того оскорбило, что я, зная свою отходчивость и умение забывать обиды, сделал из бумаги книжечку и покрыл ее условными знаками, нарисованными красным карандашом. Эти знаки должны были напоминать мне вечно о нанесенном оскорблении. Но они не помогли. Я дня через два перестал сердиться на отца. Как я теперь понимаю, у мамы было редкое умение угадывать мою точку зрения при наших несогласиях. И она принималась спорить со мною как равная, вместо того чтобы приказывать, как это делал отец. Угадывая мою точку зрения и весь ход моих мыслей, мама чувствовала, что логикой меня не убедить, и раздражалась от этого и все-таки пробовала спорить там, где надо было холодно запрещать или наказывать.

вать. Эту несчастную жажду переубедить дураков и злиться от сознания, что это воистину невысказано, я, к сожалению, унаследовал от нее. Словом, по тем или другим причинам мы всё ссорились и удалялись друг от друга, но как я ее любил! Я не мог уснуть, если ее не было дома, не находил себе места, если она задерживалась, уйдя в магазин или на практику. Мамины слова о том, что она может сразу упасть и умереть, только теперь были поняты мною во всем их ужасном значении. Я твердо решил, что немедленно покончу с собой, если мама умрет. Это меня утешало, но не слишком. Просыпаясь ночью, я прислушивался, дышит она или нет, старался разглядеть в полумраке, шевелится ли одеяло у нее на груди.

13 января

Я ничем не отличался от своих сверстников, не выделялся никакими талантами, но эта скрытая, тайная жизнь, для выражения которой у меня и слов не было иногда, приводила меня к мыслям не по возрасту. Помню, как терзало меня открытие, что если мама умрет, то я никогда не увижу ее. Никогда! Ни завтра, ни послезавтра – никогда. Вот я жду ее, все жду, а если она умерла в гостях, то я никогда не дождусь ее. И мысли эти часто, особенно ночами, приводили к тому, что я уже принимался одеваться, чтобы среди ночи бежать на поиски. Останавливали меня страх наказания, темноты и того, что мама вдруг узнает, как я боюсь за ее жизнь.

14 января

Вот такие были у меня горести. Я много думал о смерти, кладбищах, крестах, боялся их не ради себя, я не понимал, что могу умереть, а из-за мамы... Вообще, как это ни грустно, при всей неподдельности моих мучений, я стал довольно часто ломаться. Я слишком много читал. Я любил «отбросить непокорные локоны со лба», «сверкнуть глазами», научился перед зеркалом раздувать ноздри. Отец, которого я раздражал все больше и больше, обвинял меня в том, что я неестественно смеюсь. Боюсь, что так оно и было. Я в те времена старался смеяться звонко, что ни к чему хорошему не приводило.

15 января

Около одиннадцати пришел Пантелеев, а с ним Элик Маршак, с которым я познакомился в 24 году, когда ему было лет семь. Сегодня он понравился мне. Как это ни странно, я разговаривал с ним, в сущности, в первый раз в жизни. До сих пор мы встречались с ним в присутствии отца, а при Самуиле Яковлевиче не слишком разговоришься.

Я пришел к Маршаку в 24 году с первой своей большой рукописью в стихах – «Рассказ старой балалайки». В то время меня, несмотря на то, что я поработал уже в 23 году в газете «Всесоюзная кочегарка» в Артемовске⁸⁸ и пробовал

⁸⁸ В 1923–1924 гг. Шварц работал в Бахмуте (позднее Артемовск) в журнале «Забой» и газете «Всероссийская кочегарка» секретарем редакции. В эти годы

написать пьесу, еще по привычке считали не то актером, не то конференсье. Это меня мучило, но не слишком. Вспоминая меня тех лет, Маршак сказал однажды: «А какой он был, когда появился, – сговорчивый, легкий, веселый, как пена от шампанского». Николай Макарович⁸⁹ посмеивался над этим определением и дразнил меня им. Но, так или иначе, мне и в самом деле было легко, весело приходить, приносить исправления, которых требовал Маршак, и наслаждаться похвалой строгого учителя. Я тогда впервые увидел, испытал на себе драгоценное умение Маршака любить и понимать чужую рукопись, как свою, и великолепный его дар – радоваться успеху ученика, как своему успеху. Как я любил его тогда! Любил и когда он капризничал, и жаловался на свои недуги, и деспотически требовал, чтобы я сидел возле, пока он работает над своими вещами. Любил его грудной, чуть сиплый голос, когда звал он: «Софьюшка!» или: «Элик!», чтобы жена или сын пришли послушать очередной вариант его или моих стихов. Да и теперь, хотя жизнь и развела нас, я его все люблю. Сегодня, глядя на Элика, я с удовольствием угадывал в его лице отцовские черты. Мы вспоминали, как врывался Элик в комнату, едва отец уходил оттуда, – и мы начинали с ним драться и бороться. Элик скучал, очевидно, без сверстников, и я ходил за такого.

там печатались его фельетоны и стихи за подписью Щур.

⁸⁹ Олейников Николай Макарович (1898–1942) – поэт, писатель, редактор детских журналов «Еж», «Чиж», «Сверчок».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.